

С. П. МЕЛЬГУНОВ

ВОСПОМИНАНИЯ И ДНЕВНИКИ

ВЫПУСК II

(Часть третья)

ПАРИЖ

1 9 6 4

С. П. МЕЛЬГУНОВ

ВОСПОМИНАНИЯ И ДНЕВНИКИ

ВЫПУСК II

(Часть третья)

ПАРИЖ

1 9 6 4

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

Дела и люди александровского времени. — Распр.

“Красный террор” в России. — Распр.

На путях к дворцовому перевороту. — Распр.

Золотой немецкий ключ большевиков. — Распр.

Легенда о сепаратном мире.

Мартовские дни 1917 г.

Судьба имп. Николая II после отречения.

Как большевики захватили власть.

В годы гражданской войны. (Н. В. Чайковский).

Трагедия адмирала Колчака. — Распр.

Гражданская война в освещении П. Н. Милюкова.

“Российская контр-революция”. (Методы и выводы ген. Головина).

СКЛАД ИЗДАНИЯ:

LES EDITEURS REUNIS

11, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, Paris - 5^e



ВОСПОМИНАНИЯ

ВЕСНА И ЛЕТО 1918 ГОДА

Я должен был бы начать свои воспоминания с осени 1918 года — с того момента, когда среди немногих народных социалистов, вошедших в центральную группировку “Союза Возрождения”, я единственный из президиума Ц.К. партии остался в Москве. В. А. Мякотин уже охарактеризовал в печати ту обстановку, в которой складывалась наша политическая позиция весной и летом 1918 года. Для получения подлинной картины того, что было, необходимо дополнить очерки Мякотина, но я почти не могу этого сделать, оставаясь в рамках воспоминаний. Трудно отрешиться от того, что знаешь теперь и не ввести коррективы в искажения, подчас попавшие в мемуарные тексты других. Почти невозможно отделить то, что воспроизводит память от того, что почерпнуто уже в историческом изыскании. Но тем не менее я должен отметить некоторые черты, характеризующие первую половину 1918 года, когда складывалась та позиция, которую неуклонно занимали мы, оставшиеся в Москве.

Когда мысленно обращаешься к этому безотрадному прошлому жизни в России под тяжелым гнетом советской власти, каким-то убийственным прозябанием представляется отрезок времени с осени 1918 года до выезда осенью 1922 г. Из этих четырех лет лично для меня полтора года в общей сложности пришлось на тюремное заключение в подлинном смысле этого слова. Но все-таки, первый год — был годом не только надежд, но и уверенности, что пути России будут иными, чем те, по которым она пошла в итоге длительной гражданской войны. Я не мог не участвовать в ней, ибо всей душой был в лагере тех...

ЗАПИСКИ “ВНУТРЕННЕГО ЭМИГРАНТА”

(1918-1921 г.г.)

Бухарин ли в Советской России или Кускова и Пешехонов в эмиграции стали называть “внутренний эмигрант”, но термин этот довольно верно определяет настроения некоторых общественных кругов после октябрьского переворота — никакого политического соглашения с партией большевиков, никакого участия в административной власти. Когда неизбежно окончился героический период организованного саботажа широких слоев служилой интеллигенции, для нашей политической группы вопрос разрешался просто — мы считали, что никто из наших членов не должен был занимать ответственных постов. Мы оставались на положении непримиримых врагов советской власти. Ригористичность в этом отношении приводила к известным осложнениям. Едва ли не самое значительное стояло в связи с брест-литовскими переговорами.

Это был момент, когда небольшая наша политическая группа — тр.-нар.-соц.*) партия, отличавшаяся спаянностью, могла расколоться. Немцы, не признавшие формулы Троцкого — ни мир, ни война, — наступали на Петербург в советских рядах было смятение. Левые с.-р. и часть коммунистов говорили о революционной борьбе с германским империализмом. Власть склонна была делать авансы офицерскому составу и звать в ряды зарождающейся красной армии во имя выполнения своего патриотического долга. (Соответствующие звания появились, например, на улицах Москвы.) Это оказывало свое влияние. В Ц.К. нашей партии, находившемся еще в Петербурге, был поднят вопрос по инициативе едва ли не Станкевича о возможности согласованной работы с большевиками для противодействия немцам. 10 февраля я был в Петербурге, когда поставлен был этот вопрос. И у них получилось коренное расхождение, показывающее, что в партии не произошло органического слияния между двумя группами, объединившимися в июне 1917 г. — трудовиками и народными социалистами. Это психологическое расхождение замечалось и раньше и сказывалось у трудовиков в стремлении приблизиться к тактике левых

*) Трудовая народно-социалистическая.

групп революционной демократии. Я лично склонен был объяснять это тем, что большинство трудовиков объявило себя социалистами только в мартовские дни революции и, как неопиты, были очень чувствительны к скептическим замечаниям о сомнительном социализме народных социалистов.

Так и в февральские дни патриотизм облекался до известной степени в левую тогу. Точки зрения в февральском заседании резко разделились по признаку именно двух групп. Народные социалисты, говоря о необходимости призвать население к борьбе, не допускали никакого совместного действия с большевиками, трудовики за исключением Н. В. Чайковского и В. В. Водовозова требовали компромисса. Положение было очень острое. В Ц.К. все же прошла незначительным большинством резолюция н-с. части. Я уехал в Москву. На другой день происходило совместное заседание Ц. Комитета и петербургского. Неожиданно точка зрения трудовиков одержала верх. Мякотин, Пешехонов и др. заявили о своем выходе. Выход лидеров фактически означал развал партии — слишком велика была общая солидарность и авторитет руководителей партии. Опять было собрание, и вопрос вновь был перерешен в смысле эн-эсовском. Расхождение могло бы углубиться, но жизнь тут же дала наглядную иллюстрацию. Станкевич, человек по своей экспансивности неуравновешенный, в качестве бывшего верховного комиссара, вопреки постановлению Ц.К. предложил свои услуги Крыленко и был арестован. Станкевичу пришлось уйти из Ц.К. — тем дело и ограничилось. Я привожу этот пример, как иллюстрацию к тому расхождению, которое стало проявляться в кругах интеллигенции и очень понижало тонус борьбы с большевиками. Если первоначально к большевикам пошла, по выражению Бухарина, “худшая интеллигенция”, то теперь стали появляться группы, идеологически обосновывающие необходимость зарывать рвы, вырытые октябрьским переворотом, и водительство в этих группах принадлежало видным кооператорам, и как бы официозом их в Москве, где стала с конца февраля с переходом правительства концентрироваться руководящая общественная жизнь, явилась кусковская “Власть Народа”, подходившая в сущности к точке зрения официального меньшевизма. Таких, шедших в “Каноссу”, становилось больше. Я употребляю термин того времени. Это, конечно, не была Каносса принципиальная, это была та тактика, которая впоследствии поддерживала инициативу Горького, взявшего на себя неудачную миссию примирения интеллигенции с большевиками. Я помню свой разговор с Хижняковым, вернувшимся из Украины, который обуславливал необходимость работы с большевиками в кооперации соображением, что Россия гибнет. Это было очень далеко от примирения с большевиками. Мы с этим не соглашались и

считали, что со злом надо активно бороться, и что саботаж власти продолжает оставаться сильным тараном против нее. Противоагитация наша имела несомненный успех и противодействовала проповеди зарывания рвов. В Москве кроме д-ра Л. Тарасевича, Диатроптова и нескольких кооператоров, я не мог бы указать ни одного видного народного социалиста, пошедшего работать к большевикам в качестве руководствующего лица. Я не знаю, на чьей стороне была правда в смысле тактической верности методов борьбы. Но тогда психологически иной позиции мы занимать не могли.

Проповедь компромисса до бесконечности ослабляла борьбу с большевиками, ибо масса всегда более или менее нейтральна и пассивна. Проповедь политики "малых дел" всегда понижает активность и оправдывает тех, кто стремится идти по линии наименьшего сопротивления. Может быть, нигде большего вреда не принесла эта проповедь, как в военной среде, которая неизбежно должна была играть наибольшую роль в активной борьбе с большевиками, и обезвредить которую было в интересах большевиков. Эта проповедь удерживала пассивную массу от самотека в добровольческие организации.

Надо сказать, что в нашей среде, в среде левых, стоявших на непримиримой точке зрения в отношении большевиков и проповедующих активную борьбу с ними, в первые месяцы не было конкретного плана. От Учредительного Собрания оставалась большая оскомина. Вовсе не потому, что люди будто бы не проявили достаточно героизма и не сумели красиво умереть во имя проблематичного будущего. Я не думаю и не думал тогда, что правовая жертва могла бы пробудить чью либо совесть и вызвать бурное движение против большевиков. Еще задолго до созыва У.С. поблекли все надежды на него. Слишком ясно было всем, что большевики, оказавшиеся в меньшинстве, его разгонят. И следовательно, вопрос сводился к тому, чтобы за короткий срок, оставшийся до созыва У.С., организовать вокруг него общественное мнение и дать ему вооруженную силу. Это не было утопией. Конечно, состав У.С. не вызывал восторгов, но воспользоваться этим знаменем было необходимо. Едва ли многие в то время были загипнотизированы мыслью, которая родилась позже, что с большевиками народ. Наоборот, господствовало убеждение, что эта эфемерная власть, опирающаяся на преторианские штыки, может существовать только в силу пассивности населения. Население выйдет из этого состояния, если окажется возможным организовать силу для противодействия большевикам. Где найти эту силу? И здесь всякое организационное начинание упиралось в партийный тупик.

Мне пришлось принять самое близкое участие в деятельности

Московского Комитета Защиты У.С., быть одним из редакторов Известий Комитета и т. д. Сколько копий полемических переломил я в бесплодных заседаниях, доказывая, что для защиты всенародного У.С. должны быть призваны все элементы страны, а не только социалистические силы, в соответствии с составом Собрания. Эс-эры не желали допустить в комитет даже представителей партии народной свободы, члены которой состояли полноправными членами. Учр. Собрания. Этого требовала уже простая логика. Когда же нам удалось в Комитете все же получить в этом отношении маленькое большинство, эс-эровская фракция заявила, что она выходит и создает свой Комитет. Получилась бессмыслица для существования Комитета на защиту У.С., где подавляющее большинство принадлежало партии с.-р. Оставалось только примириться без надежды что-либо сделать, участвовать во внешних демонстрациях и ждать бесславного конца. Учредительное Собрание превращалось в партийное дело. Организовать защиту партийного дела было невозможно, ибо силы, фактически могшие организовать защиту У.С., были очень далеки от этого партийного дела. Повторялось то, что было в октябрьские дни, и что совершенно обессилило защиту Временного Правительства. В связи с этим и вся тактика У.С. казалась мертворожденной.

По первоначально думалось, что У.С., хоть и партийное по своему составу, сумеет занять общенародную позицию. И, казалось, один только вопрос стоял перед нами. Пользуясь своим авторитетом, которого не было у Временного Правительства, У.С. провозгласит новую власть, которую поддержат те вооруженные силы, которые удастся создать. У.С. отложило вопрос о власти (может быть, потому что чувствовало себя в безвоздушном пространстве) и занялось декларированием партийных прокламаций. Они никому в это время не были нужны. И 5 января У.С. умерло в сознании всех решительно, за исключением партии соц.-революционеров. Поэтому столь бесплодны были все последующие собрания, в которых пришлось принимать участие и мне в виду малочисленности н. с. фракции, олицетворявшейся в Н. В. Чайковском — разговоры о возможности где-либо собрать охвостье У.С. и объявиться. Повторялась та же история, что и с Временным Правительством, которое после 25 октября бесполезно пребывало в подполье, — с той только разницей, что несоциалистическая часть Вр. Пр. пребывала тогда в казематах Петропавловской крепости. Учредительное Собрание перестало быть лозунгом борьбы.

Мысль многих в это время обращалась на периферию, где, казалось, было более здоровое национальное чувство. Там по областям может создаться крепкое государственное начало. Федерация — путь к объединению и спасению России и ликвидации большевицкой аван-

туры. Для пропаганды этой идеи в Москве по инициативе П. Кропоткина была создана Лига Федерации, председателем которой он был избран. Под редакцией же Кропоткина было предпринято большое коллективное издание, где теория должна была соединиться с практикой, и где должен был быть показан образ федерированной России. Привлечены были крупные литературные силы к изданию, которое должна была выпускать “Задруга”, разработан детальный план, распределены статьи. Все это не получило осуществления, ибо жизнь вскоре разметала и авторов и средства для осуществления этого дела и самую идею отодвинула куда-то на задний план. И все-таки от этих вечеров на квартире Кропоткина (он жил у друзей для уплотнения, спасая одновременно этот дом от реквизиции), где собирались люди в сущности очень разных политических взглядов, осталось радужное впечатление от того времени. Удивительный старик. С рвением юноши выполнял он свою редакторскую работу. Много душевных разговоров было у нас в то время. И старый анархист всегда говорил, что он ближе всего себя чувствует к позиции народных социалистов. С нашей точки зрения он был государственник в лучшем смысле слова. Терпимый к чужой мысли, он был подлинным врагом большевизма.

Наша работа была пропаганда для будущего. Но настоящее висело дамокловым мечем. Были и в нашей среде голоса, высказывающие убеждение, что *ex oriente lux* должен притти с периферии. Так в январе или феврале Л. С. Козловский — верный сын Польши и друг России, один из борцов за нее в рядах народно-социалистической партии, открыто в одной из аудиторий Университета выступал с докладом о юго-восточном союзе, где может быть заложено начало новой русской государственности. Помню себя в числе ему возражавших — удар должен быть в центре. То, что было на Дону, Кубани, было для нас далеко, и сведения наши были ограничены. Добровольческое движение только зачиналось, общественные контуры его были неясны. Военное предприятие с одиозным именем Корнилова, без определенного общественного лика не рисовало перспектив того объединения, которого казалось необходимым достигнуть для того, чтобы побороть большевизм.

В конце января с Дона приехал Савинков. Он делал доклад в избранной среде в Юридическом Собрании. Он рисовал оптимистические перспективы того национального движения, которое возглавляется Алексеевым. И, выслушивая традиционные возражения — помогая генералу, не рискуете ли вы помочь реставрации, Савинков отвечал: я хочу спасти Россию, а не демократию. Левая общественность в своем большинстве заранее обособляла себя и ставила реставрационное тавро на движение, которое в данный момент подняло

открыто знамя борьбы с большевизмом, одно представляло некоторое организующее начало. Имя Корнилова для революционной демократии было слишком одиозно и поэтому безнадежно было думать о возможности ввести в одно русло различные течения антибольшевицкого движения. В отношении левых кругов скорее результаты достигались иные, подобно тому, как в октябрьские дни миф об угрозе калединской реакции понижал способность борьбы революционной демократии и скорее толкал ее на путь соглашательства и попыток переработки большевизма.

Савинков считал себя связанным с алексеевской организацией и действовал отчасти как бы от ее имени. Впоследствии мемуаристы из добровольческого лагеря изобразили это своего рода самозванством. Мне несколько раз приходилось в это время встречаться и подолгу беседовать с Савинковым. Производило впечатление, что он должен был уехать с Дона, где не пришлось ко двору. Вероятно, здесь играла роль не столько левизна взглядов (Савинков всегда подчеркивал большую демократичность Корнилова), сколько участие Савинкова на ролях петербургского губернатора в подавлении августовского движения. Мне это тоже казалось непонятным после всего того, что Савинков знал о Корниловском движении. И его объяснения никогда не казались убедительными — он должен был отстраниться от активной роли в эти дни. Уехав с Дона, Савинков оставался верным другом добровольческого движения. Здесь в Москве он пытался играть самостоятельную роль. И, вероятно, неудача, которую он потерпел, заставляла так отторгиваться от него — он отвлекал силы от основного. У Савинкова был вполне реальный план, казалось бы осуществимый в обстановке весны 1918 г., — покончить с большевиками в центре. Если позже многим все эти планы казались утопиями, они квалифицировали их словом “авантюра”, то только потому, что совершенно забывалась реальная обстановка нашего бытия в первую половину 1918 года, и большевики представлялись силой, опиравшейся на сочувствие народных масс. В нашем представлении этого не было, и я не думаю, что мы ошибались. Произвола было много, но в сущности власти в центре не было. Поэтому и произвол носил характер бессмысленных эксцессов — в административной сфере приблизительно творилось то, что делалось на улицах. Это была анархия, и удивительно, что эта анархия нас не захлестнула. На мой взгляд здесь можно найти яркое свидетельство тому, как преувеличенно представление о разбушевавшейся стихии, охватившей Россию. Так легенда создавала всевозможных прыгунов в белых саванах, нападавших и грабивших прохожих, предпочитавших поэтому по вечерам ходить группами по улицам неосвещаемой Москвы. Были ли по вечерам ходить группами по улицам неосвещаемой Москвы. Были ли

ни разу не пришлось столкнуться с каким-либо уличным осложнением и испытать какую-либо опасность. По старому по средам собирались наши знакомые и друзья, и я знаю один только случай, когда с Анисимова сняли часы. Да И. П. Алексинский рассказывал, как на него напали на Зубовском бульваре двое хулиганов, и как он, по-хирургически схватив одного за позвоночник, а у другого, нажав какие-то косточки на локте, повлек их в комиссариат, и как они взмолились их отпустить...

Память не зафиксировала ничего трагического в эти первые месяцы властвования большевиков. Эта власть грабила население. Может быть, с известной системой и идеей. Что получалось на практике? Примером может служить "Задруга". Как мы существовали? Платили проценты комиссару. Так приблизительно шла вся жизнь. Типография "Задруги" не может быть характерна для определения отношения рабочих к большевицкой власти. Печатники — передовой слой. Специфичность типографии "Задруга" — никогда никаких недоразумений. В революционные дни типография образцово работала. Среди рабочих один был только, если не сочувствующий коммунистам, то явно желающий сделать карьеру. И надо отдать ему справедливость, он все время отдавал самообразованию. Впечатление о настроении рабочих соответствовало прокламациям с. д. оборонцев: активности сопротивления никакой в мае 1918 г.

Не слишком большим преувеличением будет утверждение, что с весны 1918 года Москва была окружена кольцом то там, то здесь вспыхивающих крестьянских волнений. Красная гвардия совершенно разложилась. Солдатские банды в значительной степени распылились. Распылились и матросы. Реально защищать Сов. Нар. Ком.*) могли или наемные китайцы, или интернациональные группы из военнопленных и латыши, сплоченность и единство которых значительно ослабели. Совершенно естественно, что сами большевики считали себя на волоске и не только в дни Бреста, когда Ленин давал три недели существования, если не будет подписан мир. Совсем не фантастичны записи П. Е. М. о готовности большевиков уйти и передать власть монархии**).

*) Совет Народных Комиссаров.

**) Выписки из дневника 18 г. П. Е. М.

1/1. Были несколько дней у А. на даче. Там, на Поповской фабрике постановили, итти просить "Сергея Максимовича (Попова) вернуться и ввести все по-старому", п. ч. нет хлеба, и рабочие и крестьяне очень испугались. Кроме того, там в потребиловке (местный клуб) говорили, что "вся Россия уже решила к старому режиму вернуться, не соглашаются только 2 губернии — Московская и Петербургская" (!?). Были мы у С., она рассказывала, что видела Толстую — бабушку Вырубовой, и та ей говорила, что у нее была мать Вырубовой — Танеева и была весела, как никогда.

В таких условиях не требовалось значительных сил для переворота в центре. Действует всегда активное меньшинство, и весь вопрос в том, какой резонанс находит оно в массе. В 1918 году это было скорее всего безразличие, усталость, апатия. Активных элементов, готовых выступить против большевиков, находилось достаточно в военной среде. Совершенно произвольно и подчас самостоятельно возникали военные организации, и их было немало к весне 1918 года. Формально не объединенные, персонально они нередко переплетались между собой. Это была сторона положительная и одновременно отрицательная. Положительная в том смысле, что при таком составе легче было достигнуть объединения. Но эта слитность могла иметь чреватые последствия в силу создавшихся своеобразных политических условий. Совершенно неизбежно все эти группы искали как бы политического руководства и прилеплялись к тем или иным группам в зависимости от случая или от своих личных связей. В рядовой офицерской массе не было политического водораздела — был лишь принцип борьбы с большевиками*). Одна из больших организаций, возглавлявшаяся Ткаченко, с которой позже мне пришлось иметь дело, была сцеплена с с-рами в своих верхах — и в то же время с правыми политическими группами. Аналогичное было и с латышской офицерской группой, легшей в основу савинковской организации.

Такое положение, возможно, получилось в силу того, что организации после октябрьского переворота начали создаваться в связи с идеей защиты У.С., а после неудачи и разочарования мысль шла по другому пути.

О Вырубовой же С. слышала следующую версию: когда Колонтай и Ленин изверились в социалистической революции, Колонтай решила отыскать Вырубову, явилась к ней, и они вдвоем составили план возведения на престол Алексея при регентстве Леопольда Баварского и в. кн. Павла Александровича.

31/I. С. П-чу говорили (через К-ва), что большевики 2 часа уговаривали в. кн. Михаила Ал. принять корону, — он отказался, потому что не на что опереться — армии нет, а на немцев он не хочет.

15/II. К.-д. еще не кончили обсуждать вопрос о монархии — на сегодня 7 ораторов. Симсон встретил жандармского офицера с Александровского вокзала в штатском, — очень весел и говорит, что через 5 дней они надедут форму, и что все время получали жалованье и прибавки на дороговизну от Вр. Прав.

18/II. С. П. думает, что большевики в переговорах с монархистами и октябристами и дадут им захватить власть — им нет выхода. Это, очевидно, из слов Левенсона, большевика присяжного повер., бывшего у Симсона: он говорит, что дольше двух недель они не продержатся, так как у них полный развал.

*) 26/II. Ив. П. Алексинский говорит, что взрыв в Офицерском Общ-ве был не от анархистов, а что там помещался штаб Рузского; явились его арестовать. Чтобы спастись, они бросили бомбу и среди паники скрылись; арестовали одного офицера.

В январе инициативу проявили те слои, которые почти отсутствовали в дни захвата власти большевиками. Из кругов московских “общественных деятелей” вышла попытка военной организации для захвата власти. Уже в январе образовался тот правый центр с его секретной девяткой, около которого сорганизовались монархически настроенные элементы, монархисты ка-де*). Связанные с торгово-промышленными кругами, они располагали известными денежными средствами и следовательно могли более широко повести организованную работу, создав даже военный штаб в целях объединить и руководить разрозненными военными организациями. У правого центра были шансы тем более, что им намечен был популярный, авторитетный для военной среды ген. Брусилов, может быть, и не принимавший непосредственного участия в организации, не оправившись еще после октябрьского ранения. Но внутри организации, формально возглавляемой ген. Довгертон, не делалось из этого секрета — по крайней мере я это имя знал уже тогда. В силу указанных выше персональных связей, которые устанавливались в различных военных организациях, я был осведомлен до некоторой степени о внутренней жизни этих организаций. Не только Савинков, у которого установились некоторые связи с девяткой, — у меня был и другой источник информации в лице инж. *Жилинского*, возглавлявшего одну из военных организаций. В своей книге об октябрьском перевороте я рассказал о роли Жилинского в октябрьские дни в Москве. Человек огромной и кипучей инициативы, изумительной решимости и смелости — человек не без склонности к авантюризму, как это всегда бывает у людей такого типа, он принадлежал в свое время к боевой с.-р. организации.

*) 6/III. Кривошеин субсидирует девятку (Леонтьев и др.) из немецких денег, ибо Кривошеин связан с немецким банком. Общая ориентация крупной буржуазии немецкая. Игорь Кистяковский играет двойную роль: он немецкой ориентации, получает немецкие деньги и в то же время поддерживает союзническую организацию.

Везде и всюду немцы. Кремль охраняется военнопленными, а между тем, туда свезена масса вооружения. — Они переряжены русскими солдатами. Ростов-на-Дону взят изнутри, также будет и Москва — тут 6 800 штыков и 6 броневиков у большевиков и 30 000 штыков и 18 броневиков у немцев.

8/III. Через Кривошеина они (немцы) связаны и с к.-д., а через старую охранку с монархистами. Они через монархистов входили с предложением к Адрианову быть во главе Москвы. (9/III. Адрианов внезапно скончался от разрыва сердца. За несколько дней до смерти он был с Жилинским на заседании по вопросу о борьбе с немцами).

Немецкий генерал уже в Москве с 5-ью батальонами ударников из Минска. Оружия у них очень много, больше, чем у большевиков. Большевицкие вожди едут в Нижний-Новгород. Немцы хотят захватить власть через монархистов. (Дн. П. Е. М.).

Жилинский создал свою военную организацию; он, конечно, преувеличивал и свои силы и свои связи, и, может быть, в его рассказах, отчасти записанных в дневнике П. Е. М.*), следует сбавить кое-что. Но последующее подтвердило подлинность многих его сообщений, и его связи с Савинковым, и связи с монархистами, — проникновение в разведку не то немецкую, не то немецко-большевицкую. Через него я получал секретные апокрифические документы, подлинность которых впоследствии уже не оспаривалась, и о которых скажу потом.

Уже тогда было ясно, что правый центр совершенно бессилён объединить нужные военные силы. И суть была не в политической стороне, а в психологической. С самого начала правый центр ориентировался на немцев**). Эта тенденция довольно определённо выражалась задолго до приезда Мирбаха, до переговоров, которые повели представители этого центра с немецкими представителями. Практическая целесообразность была ясна. Немцы могли покончить с большевиками в два счета, а после Брестского мира стало ясно, что вопреки немцам и нельзя свергнуть большевиков. Правые хотели убедить немцев, что им выгодно свергнуть большевиков. Какой ценой будет достигнуто это свержение? Казалось, хуже большевиков быть ничего не может. Эта психология находила поддержку в обывательских кругах, но оказывалось решительное отталкивание в рядах политических. Я помню только один голос, раздавшийся в рядах нашей группы, это мнение П. П. Лидова, что приход немцев установит порядок — голос, подавленный общим протестом. Эта психология примирения с немцами была неприемлема для подавляющего большинства военных. Слишком не-

*) 26/II. К Жилинскому на днях явился немецкий офицер Ш., который прямо заговорил по-немецки. Он сказал, что у них есть контр-разведка, как и у Жилинского, что по сведениям своей контр-разведки Жилинский знает, что у них 28 тысяч вооружённых военнопленных, но фактически больше и предлагал войти в контакт и действовать сообща для свержения большевиков. Жилинский заявил, что не желает разговаривать, но тот, не унывая, оставил ему адрес своего штаба (так и сказал) на углу Поварской и Скарятинского пер. и просил подумать.

**) 22/II. Говорят, что в Псков к немцам ездили монархисты для обсуждения восстановления монархии. Германия хочет ввести неограниченную монархию. Говорил Титов, что многие прежние сановники приглашены в Петербург немцами.

6/III. Странности некоторые есть: Волк-Карачевский встретил на Арбатской площади человека, державшего в руках солдатскую форму и по-немецки спрашивавшего у окружающих, как пройти в манеж, но никто не понимал; Волк заговорил по-немецки и предложил пойти вместе, т. к. он туда же идет; дорогой разговорились, и тот, очевидно, из благодарности сказал: "Да вы не беспокойтесь, нас много, и мы 17-го все устроим — будет порядок; мы тут стоим в манеже", и указал верно адрес своего штаба на Поварской (Дн. П. Е. М. О Жилинском и о немцах, см. вып. I "Приложение").

приемлемо было чувство сепаратного мира, обостренное национальное чувство от столь позорного конца по вине только большевицкой демагогии. Мало того, в сознании так определенно стояла дилемма единства немецко-большевицкой проблемы. Немецкая ориентация не могла объединить людей для борьбы с большевицкой властью.

Таким образом проходил второй психологический раздел русской общественности, не менее глубокий, чем первый, т. е. отрицавший идею вооруженного свержения большевицкой власти. И он углублялся по мере того, как после Бреста немцы в Москве превращались в направляющих политику большевиков, и мы все склонны были рассматривать гр. Мирбаха, как дающего директивы. Если на первых порах получалось вопиющее противоречие, когда головка стала определенно делать ставку на немцев, а Кистяковский, посредничающий*) между девяткой и военным штабом правого центра, вербовал офицеров для отправки к Алексееву, столь же определенно занимавшему враждебную немцам позицию, то позднее, когда немцы заняли резко враждебную позицию к добровольческой армии, немецкая ориентация некоторых общественных кругов, поскольку дело шло об организации противобольшевицких сил, становилась почти провокацией, уже опасной при наличии своей немецкой разведки, частично во всяком случае связанной с большевиками.

Я должен отметить, потому что литература сделала ссылку на меня, что у меня нет никаких определенных данных для доказательства, что немцы предали большевикам военные организации союзнического толка, пользуясь своими связями с русскими общественными кругами. Но такие факты, как увидим ниже, могли быть, и это удручающе должно было действовать на концентрирующиеся военные силы. Могут иллюстрировать индивидуальным трагическим случаем, который,

*) 10/III. По сведениям Астрова немцы отложили захват на 2 недели, т. е. до будущего воскресения. По сведениям Титова они переменили план и решили, отрезав юг, заставить голодом народ свергнуть здесь большевиков. Все это скоро выяснится. По словам Жилинского к нему являлись монархисты и предлагали выступить вместе, а их, мол, поддержат немцы. Алексеев, не ведая того, работал на немецкие деньги, а немцы, давая одной рукой, другой разрушали его организацию, чтобы, стянув, погубить все способные к сопротивлению силы. Это шло под видом банковской субсидии через Б. Кистяковского.

4/IV. Сегодня в Москву приехал Мирбах — немецкий посол, по приказу которого в прошлую пятницу ликвидировали анархистов.

13/IV. Перед Мирбахом многие снимают шапки. Говорят, что максималисты постановили убить его.

23/IV. Е. А. Н. рассказывает очень много интересного про Киев. Сейчас там царят немцы. Эйхгорн издает приказы, не считаясь с радой, улицы называются по-украински и по-немецки. Фактически они хозяева, они и на выезд дают разрешение. (Дн. П. Е. М.).

может быть, косвенно произошел, к великому моему горю, отчасти по моей вине с человеком довольно мне близким по работе в “Задруге”. Я считал нужным предупреждать военную молодежь, с которой приходилось встречаться, об опасности, которую представляли тогдашние военные организации, и с какой осторожностью приходится к ним относиться. Я не могу сейчас вспомнить, какую конкретную иллюстрацию я привел, но случайно она попала прямо в цель. В интимной беседе мне было раскрыто участие в одной из ячеек, подведомственных ген. Дренеру (заместителю Довгертта). И мой собеседник, молодой пылкий человек — страстный враг немцев — вскоре застрелился. Время было нервное, люди были издерганы. Может быть, этот конец — так хочется думать — и не стоял в связи с раскрывавшимися перспективами.

Такова была обстановка, которая заставляла задумываться даже тех, которые считали по существу возможным и выполнимым внутренний переворот в Москве. Было еще одно слагаемое, которое возможное превращало в невозможное, т. е. делало переворот авантюрой, моральную ответственность за которую брать было нельзя. Риск мог оказаться пустую. Это слагаемое были реальные немцы в Москве, заставившие и Савинкова отказаться от организации выступления в Москве. Савинков, быть может, являлся наиболее подходящим лицом, которое могло бы вокруг себя объединить военные организации. Демократ и социалист, ставящий патриотические и государственные цели на первом плане, волевой человек без интеллигентских предрассудков, опытный конспиратор, привычный к авантюрам и приключениям в жизни. К сожалению его политический авторитет не был высок в обоих лагерях — и в правом и в левом. В правом он был опасным демократом, которому не верили, в левом боялись его авторитарности и его “авантюризма”. Поэтому “артисту авантюры” Савинкову приходилось идти самостоятельным путем. Ему удалось в конце концов создать наиболее мощную военную организацию, которая, вероятно, могла бы при известных условиях не без успеха выступить в центре, тем более, что в нее входили популярные среди латышских стрелков командиры; свои силы исчисляла она в 3.000 человек, а силы большевиков в 600 человек. Но ее останавливало скопление в Москве немецких военнопленных, их насчитывалось, может быть и преувеличенно, более 30 тысяч — сила, которая могла быть брошена против них. Может быть, среди немцев и были интернациональные батальоны, о которых говорили большевики, и на которые они могли рассчитывать. Но подавляющее большинство это были просто немцы солдаты, которыми гораздо больше могло распоряжаться немецкое представительство. На улицах Москвы они появлялись со своими офицерами, обряженные в русскую форму, как это

систематически отмечает дневник. Весной 1918 года нам казалось, что Москва всецело в руках немцев*).

Эта слитность немецко-большевицкой дилеммы являлась решающим моментом, который определял стимулы нашего поведения. Может быть, это единство мы слишком преувеличивали, не учитывая те острые разногласия, которые происходили у большевиков, и которыми надо было и можно было воспользоваться для создания атмосферы продолжения войны. Впрочем, эта идея многим казалась утопичной. После пережитого развала на что можно было рассчитывать?

Когда я во французском консульстве передавал по поручению товарищей наше заявление о непризнании нами брестского мира, Гренар меня спросил: что это пустая бумажка или учет реальных сил. Я ему ответил исторической справкой: национальное чувство может пробудиться тогда, когда враг появляется в центре России. И по мере проникновения немцев национальное чувство будет расти. Утопично было думать о возможности создать свою реальную силу для противодействия немецкому штыку, но свои силы мы можем объединить с попытками союзников или вернее идеей воссоздать восточный фронт. Мы достаточно были знакомы с теми переговорами, которые велись представителями союзников с большевиками и довольно безошибочно предсказывали их итог фантастических возможностей восстановления восточного фронта по соглашению с большевиками. Совершенно ясно было, что победит Ленин.

Русская общественность, раздробленная, оказалась бессильной выступить с единым протестом против похабного мира и призвать к борьбе с ним. Такой призыв мог бы иметь огромное значение — прежде всего, как воздействие на аморфную массу офицерства, незначительное меньшинство которого активно по собственной инициативе ввязывалось в борьбу с большевиками. В такой атмосфере выковывался план сотрудничества союзников с русскими общественными силами для продолжения борьбы с немцами и воссоздания русской антибольшевицкой государственности **). Две задачи стояли на очереди — надо было догово-

*) 29/IV. Третьяго дня закрыты "Нар. Сл.", "Родина", "Вперед" и "Земля и Воля" — закрыты за помещение ультиматума Мирбаха о концентрации в Москве пленных, о разоружении латышских стрелков и об улучшении положения царской семьи, т. к. Александру Феодоровну он берет под свое покровительство.

Вчера якобы к Мирбаху явилась депутация черносотенцев с просьбой "не томить и поскорее покончить", говорил В. Оболенский (Дн. П. Е. М.).

**) 26/II. Наше заседание Ц. Ком. высказалось вчера определенно против вступления союзных войск в Россию без согласия России, считая это вступление (Япония) оккупацией. Только Чайковский у нас настаивал на опоре для Учредительного Собр. на Японию (тыл из них), но все против. (Дн. П. Е. М.).

ряться с союзниками, дабы интервенция не носила характера оккупации и убедить их в бессмысленности все продолжать разговоры с большевиками. А для договора с союзниками надо было создать какой-то единый общественный фронт — сцепить левых с правыми. В воспоминаниях Мякотина рассказаны те трудности, с которыми проходило это сцепление, как в отношении союзников, так и русских общественных группировок. (Собрание с соц.-демократами. Препятствие в Учр. Собрании. Излишняя конспирация.) В конце концов некоторая договоренность была установлена, и было выработано подобие единого плана действий между представителями союзников и двумя объединенными группировками: Союзом Возрождения и Национальным Центром, выделившимся из Правого Центра в силу слишком определенного курса на немцев в последнем. Московские представители союзников, среди которых руководящую роль играл Гренар, склонялись к конструкции, выработанной Союзом Возрождения. И это, конечно, повлияло на уступчивость Нац. Центра, отказавшегося от идеи личной диктатуры. Соглашение с союзниками было зафиксировано той вербальной нотой, которая была сделана в июне от имени Гренара Союзу Возрождения. Она была вручена одним из представителей французской миссии на квартире Титова. Утопия могла претвориться в дело, но к сожалению договоренное носило довольно призрачный характер — то, что мы принимали за договоренность, являлось лишь благожелательным отношением. То, что мы хорошо знаем теперь по документам, совершенно неясно было весной 1918 года. Мы были уверены, что последует более или менее мощный десант, около которого могут сгрудиться русские силы; мы были уверены, что выступление чехов является как бы выполнением выработанного плана. В действительности было нечто колеблющееся, неопределенное, двойственное и противоречивое. Московский договор отнюдь даже не признавался таковым. Савинков послал в Вологду, информируя по своему свое правительство. Как-то курьезно вспоминать теперь свои “споры” с проф. Мазоном. Я не принимал непосредственного участия в переговорах своих товарищей с миссиями, судил больше по их уверениям. Позже в августе участвовал с Гренаром — это было заговорщическое собрание, в котором на равных правах участвовал Гренар. Осторожный Мазон подчеркивал, что вопрос решен, но нельзя обольщаться, что десант произойдет скоро и т. д. Мне казалась бессмысленной такая тактика, я не допускал ее возможности и старался “убедить” Мазона в противоположном.

Если неопределенность общесоюзной политики мешала созданию восточного фронта в широком масштабе, то расплывчатая политика на месте препятствовала более узкой задаче подготовки русских сил. Здесь союзников меньше можно обвинять. Разбросанность русской об-

щественности заставляла их делать ставки на разные стороны, и сама русская общественность их провоцировала идти по этому пути. Но все-таки недоговоренность у них была удивительная. Каждая из миссий стремилась самостоятельно делать что-то на русской почве и подчас пускаться в самостоятельные авантюры, к которым были склонны военные миссии. Эти военные рассуждали довольно элементарно: все, что делаешь в тылу врага, занявшего западную и юго-западную Россию, — на пользу союзникам. Отсюда и собственные авантюры, которые подчас больше били общее дело и разрушали то, о чем договаривались политики, разрушали его и авантюры, на которые они подбивали русские организации.

Единый фронт русской общественности был, конечно, очень относителен. Это были лишь зачатки и в силу этого уже недостаточно авторитетные в глазах тех, кто поднимал знамя борьбы. Некоторое единство дипломатических переговоров было достигнуто только у Союза Возрождения и Национального Центра. Но их авторитет не склонны были признавать даже те, кто являлся их союзниками. Прежде всего появившиеся в Москве представители Добровольческой Армии. Может быть, естественно, что они не пытались завязать связи с левым Союзом Возрождения, но у них были связи с Национальным Центром — не только персональные, но и общественные. И тем не менее они желали иметь непосредственно отношения с представителями союзников и убеждали последних иметь дело и давать деньги, минуя московские организации. Не знаю, достигли ли они чего-либо, но общий фронт они разбивали (как видно из воспоминаний Казановича, он делал это по собственной инициативе).

Самостоятельно хотел действовать и Савинков, не сливаясь и не подчиняясь образовавшимся политическим центрам, но имея с ними связи. Он был главным образом связан с военными миссиями. Клином врезалась и работа Ц.К. (эс-эр), который в своем большинстве не сочувствовал организации Союза Возрождения и хотел идею восточного фронта провести под знаменем Учредительного Собрания. В действительности это означало партийный флаг и шло вразрез с общей работой. Впоследствии Ц.К. партии решительно отгораживался от связи с интервенционным планом союзников и от непосредственных сношений с союзными миссиями. Я могу утверждать только то, что Гренар определенно говорил мне о своих связях с Ц.К. партии, что ему был передан меморандум Чернова в связи, очевидно, с решениями 8-го Совета партии. Впоследствии, осенью, когда мне пришлось вести недолго совместную работу с с.-р. — о чем ниже — у меня не было никакого сомнения в некоторых связях военной комиссии партии с.-р. с военными союзническими миссиями.

Ставя вопрос о возобновлении борьбы с немцами, естественно ставили вопрос и о денежных средствах. От них зависел в значительной степени успех начинания. Нужны были деньги, чтобы содержать военные организации, подготавливающие кадры, нужны были деньги на отправку людей на создающиеся фронты. Если Нац. Центр мог рассчитывать на получение некоторых денег с буржуазии, то Союз Возр. мог рассчитывать на кооперативные организации. Эти свои деньги, вероятно, могли бы быть значительны, если бы установилось большее единство. Нац. Центр имел конкурента в Правом Центре, Союз Возр. — в партии с.-р. Чайковскому удалось собрать через Л. Б. и Цен. несколько сот тысяч. Конечно, главные деньги должны были дать союзники. Но и в этой области позиция союзников была весьма неопределенна и двойственна. В миссиях были деньги, но они расходовались без всякого плана, по принципу ставить ставку на все лунки.

И это становилось совершенно бессмысленно, когда жизнь создала восточный фронт прежде, чем в центрах было принято окончательное решение, и когда теория стовора стала переходить в дело.

С выступлением чехов и движением в Сибирь восточный фронт стал реальностью, и следовательно план приходилось осуществлять с наличностью тех сил, которые имелись. Союзники материально поддерживали партию с.-р., Союз Воз., Нац. Ц., Савинкова, Добр. Армию — каждый самостоятельно получал свое — и тем самым способствовали распылению сил. Между тем, при договоренности и объединении материальные силы союзников могли бы содействовать сплочению внутренних сил. Это было бы вмешательство во внутренние дела. Нет, то была бы лишь концентрация сил. Деникин в своих исторических воспоминаниях очень неодобрительно отнесся к такому распылению. Но он рассматривает вопрос лишь с точки зрения интересов Добров. Армии, которая является для него центром. В то время она могла быть лишь одним из слагаемых, ибо в силу окружающих условий не могла быть центром противогерманской борьбы. Деникин говорит о миллионах, полученных общественными организациями Москвы от союзников и истраченных на организацию филиала, своих военных организаций, контр-разведки и пр. “Миллионы” были весьма относительно. Союз Возрождения получил, вероятно, один миллион с небольшим. По словам Федорова, приблизительно такая же сумма получена была Нац. Центром. Савинков говорит о двух с половиной миллионах, полученных от союзников. Гренар говорил мне, что им передано было с.-р. несколько миллионов. Я думаю, что Гренар все объединил в одно. В сущности, все это были гроши для того начинания, которое предполагалось осуществить.

В июне я принял близкое участие в организационной работе Союза Возр.*). Союз Возрождения сам никаких военных организаций не создавал. Его задача была переправлять силы, главным образом, на восток, отчасти на север, где ожидали десант, и в связи с этим началась организационная работа и требовала расходов (для переговоров приезжал С. Маслов из Вологды). Но С. В. отправлял и на юг тех, которые желали ехать в Добров. Армию. Это была одна из главных функций военной комиссии — проконтролировать лицо, снабдить деньгами, добыть документы, дать связь. Контроль не только с точки зрения добросовестности, но и политический — с точки зрения ориентации — это была конспиративная работа. Сам я непосредственно принимал в этом участие недолго. Ген. Болдырев, уезжая на восток, оставил в Москве заместителя полк. ген. шт. Иванова, который и должен был взять на себя посредничество с военными и связь с военной организацией, состоящей при Нац. Центре. В сущности последняя и была в основе той самой организацией, которая создавалась при Правом Центре и ушла из-под политического руководства последнего при раскрывшейся немецкой ориентации. Военные организации Правого Центра сошли на нет, чему содействовало несколько провалов, которые обнаруживали немецко-большевицкие связи и следовательно провокационную работу. (Милоков). Против желания Союзу Возрождения все же пришлось обзавестись своей военной организацией.

Дело было так. В редакцию “Народного Слова” ко мне явился некий полк. Ткаченко, которого я несколько знал по первым дням революции, когда он состоял помощником командующего войсками Грузинова. Затем Ткаченко в бытность мою редактором сотрудничал в качестве военного обозревателя во “Власти Народа”. Но тогда мы постарались избавиться от него, так как обнаружили какие-то темные его дела до революции.

*) 7/VII. С мая не писала ничего, живя под вечной угрозой обыска, особенно теперь, когда С. П. вошел в Центр Союза Возрожд. и взял на себя определенное дело. И так-то немцы наступают — Орша взята совсем, идут к Смоленску, который якобы эвакуируется — это ответ на убийство Мирбаха, по поводу которого Совету был предъявлен ультиматум — ввод отряда в Москву для охраны посольства — официально Ленин при всеобщем одобрении отказал в этом, но вчера через Москву проходили (гов. Симсон) переодетые немцы, якобы к Ярославлю для подавления тамошнего восстания, — там восставшие свергли большевиков, многих расстреляли, и захватили власть. От Москвы подошли с артиллерией, заняли вокзал и стали громить другой берег, где засели восставшие. Бежавшие оттуда говорят, что город пылает и центр разрушен. Мост взорван...

Странно — большевики не берут налогов: на днях принесли от одной фабрики единовременный налог в казначейство, говорят: “не вносите, нам не до этого, не стоит”; они понесли в банк — там то же. (Дн. П. Е. М.).

Ткаченко мне сообщил, что он стоит во главе многочисленной военной организации, создавшейся в дни защиты Уч. Собр. и состоящей при военной комиссии Ц.К. партии с.-р. По словам Ткаченко, его организация, примкнувшая к с.-р. в действительности тяготеет этой зависимостью и хотела бы встать под иное политическое руководство. Союз Возрождения нигде официально не фигурировал, но всякий наблюдательный человек того времени легко мог догадаться о существовании подобной, если не организации, то позиции, так как в “Народном Слове” были опубликованы результаты наших переговоров с партийным комитетом. Ясна была позиция “Народного Слова”, его призывы — в моей, например, статье за подписью “Борьба до конца” весьма определенно и открыто делались призывы. Я не могу определить в точности, в какое время лета происходил этот разговор — очевидно, в первую половину, когда еще военная комиссия Союза Воз. правильно не функционировала, так как мне пришлось вести разговоры об организации Ткаченко с соц.-рев., не входившими в Союз Возр. Я сказал Ткаченко, что должен поговорить с с.-р. И действительно имел беседу — мне кажется, с Тимофеевым, в течение которой выяснилось, что с.-р. скорее тяготеет этой организацией, явно идущей не в их фарватере. Я предупредил Союз Возр., что личность Ткаченко не возбуждает большого доверия; было решено материально организацию поддерживать, проверить и черпать из нее людской элемент для отправки на фронт. Вероятно, около 100 тысяч в месяц на это пришлось ассигновать — для того, чтобы организация не распалась. По опубликованным уже данным, отчасти выяснившимся во время с.-р. процесса, организацию Ткаченко надо признать одной из самых крупных в то время, и во всяком случае это была основная организация с.-ров. С Ткаченко еще придется встретиться.

Из сумм, полученных из миссий, Союз Возр. поддерживал отчасти и Савинковскую организацию. На суде Савинков сказал, что его много раз звали в “левый центр”, но он уклонился. Едва ли это было так. К Савинкову отношение было, как я указывал, довольно отрицательное. Я не знаю, конечно, какие разговоры вел Савинков со своими бывшими товарищами по партии, и каковы у него были в этом отношении связи. Связь была, например, с Моисеенко, — это несомненно. В нашей среде за Савинкова приходилось вести борьбу. Я лично считал необходимым привлечь его организационно в общее дело — ввести, так сказать, в центр. Савинков был один из немногих среди нас, способных вести работу. Но его боялись — боялись его “авантюризма”. Вероятно, и Савинков не очень склонен был идти на положение подчиненное и предпочитал вести разговоры с политиками и делать свое собственное дело. С его организацией нельзя было не считаться, тем более, что

при общем плане надо было всячески избегать сепаратных выступлений, которые могли быть только со стороны Савинковской организации. В силу этого и Титов и я не раз видели Савинкова на его конспиративной квартире. Наши ли убеждения или сознание невозможности выступить в Москве вследствие наличия немецкой силы заставили Савинкова отступить от первоначального плана и в сущности влиться в русло восточного фронта. Савинков стал перебрасывать свою организацию в Казань. Вероятно, этому содействовал и провал в центре штабной квартиры, при котором только случай спас главных деятелей Союза Р. и Св.*) — Бредиса, Перхурова, Гайнера.

В связи с этим провалом был арестован и член нашей партии, входивший в Союз Р. и Св., Виленкин. Виленкина, конечно, трудно назвать нар.-соц. Входил Виленкин в Союз Р. и С. без нашего официального ведома, но некоторым было известно участие его в военной организации. И был там не один Виленкин. Повидимому, участвовал и погибший вскоре петербургский трудовик Гуровский. Участие наших членов отнюдь не могло служить гарантией правильного, на наш взгляд, пути, по которому следовал Савинков. Поэтому-то мы и пытались вступить в контакт с самим Савинковым. Материальная поддержка служила средством для такого контакта и особенно в первое время, когда организация нуждалась в этой поддержке, и когда сумма, полученная от чехов, была едва ли не единственной ее материальной основой. Во всяком случае, через меня из денег Союза Возр. дважды была передана на моей квартире Савинкову довольно крупная сумма — в общем, вероятно, около 300 т. К сожалению, самостоятельная работа военных миссий, толкавших Савинкова на авантюры и снабжавших его деньгами, совершенно разрушала возможность планомерной работы. Приведу один характерный эпизод, который, вероятно, надо отнести к началу или середине июня. Однажды Жилинский, имевший связь с Савинковской организацией... сообщил мне о подготовляемом при содействии воен. иностр. миссии акте выступления против большевиков. Это взрыв пороховых складов в Лосиноострове. Мне показался акт этот чудовищным. Он мог повлечь за собой массу жертв, и эффект его совершенно парализовался бы впечатлением, тем более, что фронт начинающейся гражданской войны был очень далек. Могло случиться так, что он толкнул бы общественное мнение только в сторону немцев. Я стал настаивать на том, чтобы переговорить с кем-либо из ответственных руководителей. Жилинский в тот же день сообщил мне, что на другой день меня посетит такое ответственное лицо. И я был совершенно поражен, когда увидел у себя... меньшевика Шера!! Я так был далек

*) Союз "Родина и Свобода", основанный Савинковым.

от подобной возможности, что до некоторой степени растерялся. Мне казалось неудобным спрашивать про конспиративное дело, несмотря на старое знакомство с Шером. Так участие Шера для меня осталось и остается загадкой. Шер сказал мне, что мои сведения неверны, что ничего подобного не затевается и т. д. Во всяком случае, появление Шера могло только свидетельствовать, что поле окружения Савинкова более широко, чем это казалось, или что Жилинский ошибочно приписал Савинковской организации дело, которое затевалось какой-нибудь эс-эровской организацией, участвовавшей в октябрьские дни, с которой более естественно мог находиться Шер в организационных сношениях. Этот эпизод, как нельзя лучше, характеризует трудную обстановку того времени.

Я хочу однако продолжить рассказ о том, как Союз Возрождения тратил деньги, полученные от иностранцев. Союз отнюдь не игнорировал и Добровольческую Армию. Я говорил уже о том, что мы немало военных переправили на юг. Посылались ли туда деньги? Я этого не знаю. Титов говорил, что деньги не посылались. Возможно, что здесь было разделение функций — и Добровольческая Армия была как бы на попечении Национального Центра. Но вот что регистрирует моя память, опирающаяся на запись в дневнике моей жены. По поручению Союза Возрождения в силу личных связей с И. Г. Коганом — директором местного отделения А.Д.Б.*) я выяснял у него возможность перевода денег на Юг — очевидно в надежде, что мы действительно будем получать деньги от союзников. И Коган ответил, что они всемерно заняты этим вопросом, и что им удастся уже переводить каждый месяц около 4-х миллионов. По воспоминаниям Деникина выходит, что, как-будто бы, никаких денег Добровольческая Армия из Москвы не получала. Я останавливаюсь на этом вопросе, чтобы подчеркнуть, что о противодействии Добр. Армии не могло быть и речи. С самого начала допускалось, что кандидат Национального Центра Алексеев получит первенство перед Болдыревым, если только согласится вступить в намеченную Директорию, которой предстояло по всем складывающимся обстоятельствам действовать на Востоке**). Уже в июне на юг для выяснения обстановки выехал Титов, приславший мне письмо***). (Дру-

*) Азовско-Донской Банк.

**) 14 августа (ст. ст.) Алексеев хотел идти на Москву. Ему указано, что лучше идти на Волгу, чтобы не разбивать сил. 15 милл. ему переправлено — это то, что надо было для начала движения. (Дн. П. Е. М.).

***) Приблизительный текст этого конспиративного письма Титова, из Ростова-на-Дону: Дорогая Тетушка! Был по нашим семейным делам у дяди Миши (ген. Алексеев. П. М.). Он считает, что мы все должны вложить

гая делегация Союза Возрождения в лице Аргунова и Кроля выехала на восток).

Я взял слова Деникина для характеристики того, как тратились деньги московскими организациями. И здесь еще один вопрос требует разъяснения. Никаких контр-разведок мы не заводили — во всяком случае Союз Возрождения. Думаю, что ее не было и у Нац. Центра. При Савинковской организации такая контр-разведка существовала, и создал ее Бредис. Без такого шпионажа не могла существовать организация, замышлявшая переворот в самой Москве. С Бредисом работал офицер, считавший себя н.-с., и связанный узами личного знакомства с некоторыми из нас — Осколков. От него я получал некоторые материалы, за которые и платил деньги, правда, весьма незначительные. Это были даже не тысячи, а сотни. На меня часто производило впечатление, что деньги эти идут на выпивку самому Осколкову — может быть, впрочем, с теми, от кого материалы добывались. Я к этим данным невольно относился с некоторой предвзятостью, хотя и знал о связи Осколкова с Бредисом, с которым я встречался, и который производил на меня впечатление человека серьезного. Получал я материалы и от Жилинского — ему я никогда ничего не платил. О двух чрезвычайно важных документах я буду говорить ниже. Объективно должен отметить, что мы были особенно скрупулезны в тратах тех денег, которые получили от союзников. По нашему мнению, они должны были идти только на военные нужды, на организацию армии. Все наши организационные расходы должны были покрываться из тех русских источников, к которым мы имели ход...

Я не буду останавливаться на организационной работе, хотя в ней были и специфические черты. Это была работа нелегальная, но я все-таки скорее назвал бы ее полуполюгальной. В некоторых мемуарах (Зензинов) подчас слишком сгущены черты того, что было в действительности. Поправка из личных переживаний. Столица сильно отстала от тех эксцессов, которые были в провинции. Для столицы не наступила еще пора террора, который развивался на местах. Сылк был очень плохо поставлен. Наша военная комиссия собиралась почти открыто в помещении Учебного Отдела. Приходили люди, подчас мало знакомые, — и ни одного провала. Выехать из Москвы с фальшивым паспор-

наши капиталы в одно общее русское дело, например, паточное; показывал он мне письмо дяди Паши (Милюков. П. М.), который зовет его вложить капитал в пивоваренный завод, что это всего выгоднее, но дядя Миша ответил и показал письмо мне, что считает это дело невыгодным, а меня просил только уговорить дядю Колю (Н. Чайковский, завед. деньгами Союза Возрождения. П. М.), поместить все в одно место. (7/VII 18 г. Дн. П. М.).

том не представляло никакого затруднения. И особенно легко на юг через территорию немцев, пользуясь украинскими паспортами, которые доставать было очень нетрудно. Даже самая Ч.К. имела примитивный характер. Хорошо помню при аресте Сыроечковского, сидевшего с к.д., сношения с волей были чрезвычайно просты. Мы могли открыто объявить об этом аресте на митинге в Университете, где выступал Мякотин.

О С Е Н Ь

Текут дни... Стираются впечатления, иногда яркие и жуткие, иногда убийственно серые от тюремного бытия в Советской России. Их надо записать...

Пять раз в течение истекшего пятилетия*) я наблюдал современную тюремную действительность. Это было в разные эпохи — 1918, 1919, 1920-1921, 1922. Я был в тюрьме, когда у власти не было налаженного “государственного” аппарата, когда не было системы и действовала традиция; я был в тюрьме, когда создавалась система; я был в ней, когда тюрьма действовала по новой регламентированной системе, являвшейся уже продуктом коммунистического творчества.

Эти разные периоды носят и разные характерные черты.

Я был всегда в тюрьме “привилегированным”. Это важно помнить — только тогда можно ощутить подлинную действительность советского тюремного быта. Писатель — демократ, так или иначе числившийся в социалистических рядах, имевший достаточные личные связи по своему прошлому с теми, кто стоял у верхов власти, неизбежно попадал в несколько другое положение, чем всякий иной тюремный обитатель. Здесь уравнение было только относительное. Столичная тюрьма, столичный произвол это нечто весьма далекое от того, что делалось в провинции.

Я буду описывать только то, что видел и при том в хронологическом порядке. Возможно, что обобщающая картина дала бы и большую яркость изложения и большую изобразительность для пережитой реальности. Но хронологическая канва лучше очертит эволюционные этапы, пережитые тюрьмой, и послужит более надежной опорой для воспоминаний.

Эти страницы будут только воспоминаниями.

*) В тексте ниже, при описании своего второго заключения, С. П. отметил так время написания этой части воспоминаний своих, начиная с 1918 г.: “Январь 1923 г. записано”. (П. Е. М.).

І. — ПОСЛЕ ПОКУШЕНИЯ НА ЛЕНИНА

Я был арестован по ордеру В.Ч.К. в первый раз на другой день после покушения на Ленина, в ночь на 1-ое сентября 1918 г.*). Из памяти изгладились подробности условий, при которых проходил обыск и самый арест. И понятно — 23 обыска я пережил в течение советского пятилетия; немного меньше, так как два обыска приходится уже на то время, когда я выехал из России. Руководители полицейской политики советской власти очевидно не могли забыть проторенного пути! Ни достаточного опыта, ни разработанных инструкций еще не было. Я помню лишь, что представители Ч.К. — почти исключительно латыши — явились в 3 часа; до 6 час. производился обыск, после чего меня увезли.

На другой день, уже в мое отсутствие, приехали опечатывать помещение, но, конечно, в то же утро все, меня компрометирующее, было вывезено. Полуграмотные латыши растерялись при виде моей большой сохранившейся библиотеки и архива, что всегда спасало меня при последующих обысках. Опыта у тюремщиков было еще мало. И не трудно было при аресте пронести с собой и карандаш и бумагу и даже столь необходимый в тюремном обиходе маленький перочинный ножик.

Царство латышей! и при том латышей, почти не говоривших по-русски! Сразу чувствуешь себя беспомощно оторванным. Кругом латыши и китайцы на низших должностях охранителей. Что-нибудь разъяснить, что-нибудь сказать нет возможности. Лишь грубый окрик можно получить в ответ. Помню, какое затруднение вызвало обычное заполнение анкеты, уже тогда введенной любителями всякого рода регистраций. Комендант не желал признать моей принадлежности к народно-социалистической партии на том основании, что *народными* социалистами являются большевики.

Так или иначе процедура кончена, и я ввергнут в предварительную камеру для арестованных В.Ч.К. на Лубянке 11. Ею было

*) 5 авг. (ст. ст.). Факт покушения на Троцкого — стрелял лучший московский стрелок в его автомобиль, убил адъютанта, Троцкого не было. Сообщники расстрелены, один ушел из-под расстрела. Троцкий и Ленин знали о готовящемся покушении и нигде не появлялись (Дн. П. Е. М.).

занято помещение бывшего Страхового Общества “Якорь”. Повидимому для предварилки было эксплуатируемо какое-то складочное помещение, судя по тому, что стены заполнены были стойками, разгороженными на отдельные маленькие ящики. В этой огромной комнате стояли рядами нары. Но народу было так много, что люди заполняли полы, влезали на верхушки полков, сидели, стояли. В помещении, рассчитанном, вероятно, человек на 100, по крайней мере было 300. Было грязно, было зловонно, порой до-обморочно душно, но все же со стороны внешнего обихода это была идеальная пора советского тюремного быта...

Тот, кто не сидел впоследствии в так называемой внутренней тюрьме Особого Отдела В.Ч.К., не поймет, какое удовлетворение для заключенного могло представить то обстоятельство, что не было ограничения в пользовании уборными, расположенными тут же около страхового ящика. В былые годы в царской тюрьме политики голодали за право чтения книг и за другие тюремные привилегии, здесь скорее приходилось голодать за права более элементарные. Но об этом позже.

В дни сентябрьского террора не было речи о протестах, ибо казалось, что ящик Страхового Общества “Якорь” лишь временное и случайное узилище, вызванное неустройством власти, непривычной еще к произведенным экспериментам в виде массовых, тысячных арестов.

Собранных в ящик власть не считала нужным кормить. Нельзя же считать едой ту отвратительную баланду, которую давали в небольшом количестве в 12 часов, $\frac{1}{8}$ ф. черного хлеба и кусочек сахара. Это все, что полагалось на день. И опять блаженство — кипяток можно было получать в течение дня и ночи в неограниченном количестве. Допускались передачи из внешнего мира. А главное за тюремными стенами не была произведена еще национализация всего, что только было возможно. Существовали лавочки, где можно было приобретать соответствующую пищу и папиросы, без которых курильщику мучение, а в тюрьме двойное. Для этого существовал старостат. Выбирал ли его кто-нибудь — не знаю. Думаю, что он был самозванен, или назначаем ближайшим тюремным начальством. Но и против этого никто не протестовал. Старостат были люди “свои” для администрации, которая по всей видимости принимала непосредственное участие в деловых коммерческих операциях старостата. Это был грабеж заключенных. Но, кто имел деньги, охотно примирялся с грабежом ради благ земных, а кто пенязями не обладал, тот все равно щелкал зубами на счастливых “буржуев” и вынужден был ограничиваться подачками или голодать на баланде. Никакого коллектива не было и не могло быть, так как публика в ящике представляла собой текущую реку: десятки ежедневно отвозились и привозились из Бутырок. Деньги не только не отбира-

лись, но даже ежедневно с воли разрешалось получать керенку, т. е. 40 тогдашних рублей. Старостой при мне был отвратительного вида нахальный матрос, человек, обвиняемый в уголовном преступлении, а, может быть, и просто советский провокатор. Через этого старосту можно было отправлять и письма. И немало людей попадали впросак, с обывательским доверием отнесясь к добровольным почтальонам.

Я не познал сразу всех прелестей пребывания в ящике, потому что на другой же день был вместе с товарищами отвезен в Бутырскую тюрьму. Нас, знакомых между собой, оказалось немало.

Когда со свежего воздуха попадаешь в обстановку и атмосферу Якорьского ящика, прежде всего обольдеваешь. Не найдя себе места, где-нибудь приткнешься и замрешь до утра. Ждать недолго. Аресты обычно происходят ночью, и лишь часам к 4 попадаешь на свое место в предварилку. Чувство этой растерянности ощущает каждый — даже не новичек по тюремным сидениям. Так ясно это видно по лицу. И действительно, сразу попасть как бы на пересылный этап трудно. Освоившись, видишь знакомых. Вот лежит грузная фигура кооператора Беркенгейма, арестованного в связи с принадлежностью его к с.-р. партии. Постепенно различаешь и других. Уже не так одиноко себя чувствуешь — все же ты среди латышей и китайцев, как бы в своей среде.

Попадаю в небольшую компанию знакомых: дашнакцон Назарьянц, с.-р. Копытовский, “большевик” писатель Каржанский. Этот возмущен своим арестом. Очевидное недоразумение! Он уже подал заявление в президиум, написал друзьям из большевиков. Конечно, он сегодня же будет освобожден. Посмеиваюсь и злю его утверждением, что буду выпущен скорее, а он обречен посидеть в ящике недели две, пока не выяснится его приверженность большевицкой власти.

Вечером всех нас вызывают для отправки в Бутырский замок. Старое, знакомое для многих место. Собираемся с легкостью — лучше в обычной, налаженной тюрьме, чем в этом “ящике” с неопределенным еще и произвольным режимом. Решаем держаться вместе, чтобы попасть в одну камеру. Везут нас в открытом грузовике. Кто лежит, кто сидит на корточках так, чтобы голова не высовывалась, ибо стража, рассеянная по краям и состоящая преимущественно из матросов с “озверелыми” лицами, как принято выражаться в мемуарах, грозит стрелять, если кто приподнимет голову: кто поднимется — уьем. Везут партию — словно на убой.

В Бутырках все, как полагается в тюрьме. Отбирают деньги, драгоценные вещи — дают расписки. Вы можете этими квитками платить за забор товаров в тюремной лавочке. Поверхностный обыск, и нас

проводят в соответствующий коридор. Мы все оказываемся в одной камере.

Она заслуживает особого описания. Это штрих для устанавливающегося режима под знаменем рабоче-крестьянской власти.

В камере, рассчитанной на 25 мест, лишь одно свободное место. А нас пять. Четверо должны устроиться или на обеденном столе или на асфальтовом полу, имеющем в образцовой тюрьме одно свойство — от сырости он всегда мокрый. Нас, пришельцев, местные аборигены скоро устраивают и довольно комфортабельно. Мы маленькая группа интеллигенции среди 24 красноармейцев, арестованных за какое-то буйство или “заговор” во Владимире и сидящих уже три месяца без предъявления обвинений. Мы “буржуи” по виду, но никакой враждебности по отношению к нам в камере нет. Красноармейцы ложатся попарно на одной койке и нам уступают целую койку. Беркенгейм и Назарьянц в первую ночь устраиваются на столе. Уже поздно — 10 часов, когда захлопнулась за нами дверь в камеру. Перед сном старые обитатели камеры повествуют нам о том, как каждую ночь вывозят на расстрел. Если в два часа ночью в коридоре шаги, камера просыпается и с трепетом ждет, где щелкнет замок. Взяли из такой-то камеры. Щелкает замок и в эту ночь... Тревожно дремлешь, вскакивая при каждом шуме.

— Сегодня еще у нас взяли ночью. Так и освободилась койка.

Никто из нас не ждал расстрела. Слишком очевидно, что мы не повинны, ни косвенно, ни прямо в покушении на Ленина; расстреливают, как стало уже известно, за покушение на вождя пролетариата представителей старого чиновного мира и полиции. Жандарм старого режима отвечал за покушение на Ленина, произведенное членом с.-р. партии. Очевидно, расстрел — форма устрашения. Только такой логикой можно объяснить то несуразное, что творится открывшейся эрой террора.

В первую ночь, как всегда, не спится. Да и непривычно еще спокойно переносить переживания, связанные с сознанием, что здесь около тебя берут на расстрел людей. Сердце потом очерствело.

Помните ли картину переживания тюрьмы перед казнью, нарисованную в “Бытовом явлении” В. Г. Короленко на основании письма пережившего это чувство, ужасное чувство бессилия, когда вся тюрьма не спит и прислушивается к тому, что происходит за стенами.

Мы проводили потом ночи в таком сознании. Нервы выдержали только потому, что притупились...

Не спишь и сквозь дрему прислушиваешься... Шум в коридоре. Все насторожились. Шаги ближе... У наших дверей. Щелкнул замок. Входят к нам.

— Мельгунов здесь? Без вещей по городу. — Пришли за мной. “Без вещей по городу” — означает расстрел по тогдашней тюремной терминологии. Слишком неожиданно, поэтому и не реагируешь. Чуть сильнее забилося сердце. Вижу растерянность товарищей, вижу ужас и сожаление на лицах остальных сокамерников. Красноармейцы уверены, что берут на расстрел; каждый из соседей старается помочь и ободрить. Но я уверен, что не расстрел. Но что такое? Почему вызывают ночью? Мы еще не привыкли тогда, что именно ночью входит в обычай вызывать на допрос. Сбить и смутить полусонного растерянного человека, приготовившегося идти на расстрел, легче. Это система Ч.К.; система, дающая иногда блестящие результаты.

Обыватель по мирозерцанию, не чувствую себя обывателем в жизни. Поэтому спокоен. Выводят и сажают в легковой автомобиль. Со мной везут еще одного. Куда? зачем? — не говорят.

Автомобиль поворачивает не на Ходынку. Явно везут назад на Лубянку. Зачем же привозили в Бутырки в этот вечер? Для того, чтобы увести назад уже без вещей, без кружки, без подушки, без всего самого необходимого для неприспособленного тюремного быта. Привозят и молчаливо отправляют в ящик. Думай и делай, что хочешь. Сразу уже чувствуешь никчемность буржуазной личности.

Через час вызывают однако на допрос. Допрашивает сам Скрыпник — я прежде всего заинтересовался узнать, с кем имею честь разговаривать, ибо с анонимами вообще беседовать не охочь.

Скрыпник — крупная фигура. Следовательно или я сам по себе крупная рыба, или за мной числится крупное противосоветское деяние.

Распрашивают меня о моих знакомствах. Знаю ли я, например, Н. Ив. Астрова и других. Указываю на наивность таких вопросов по отношению к человеку, который по своему положению и по своим естественным связям лично знаком с большинством видных общественных деятелей. Так вокруг и около ходит допрос. И не уразумеешь, в чем дело.

Не выдерживаю и сам ставлю вопрос определенно. Наконец, после получасового допроса выясняется, что обвиняют меня в связи с делом Локкарта*). Я участник этого заговора. Им доподлинно известно, что я был вызван на совещание к Локкарту, был вызван отчасти в качестве эксперта. По неудачной формулировке г. Скрыпника выходило так, что моим мнением как бы интересовалось само английское правительство. Такой чести я не ожидал, ибо не мог предполагать за собой такого авторитета. Мораль — никогда не надо пытаться остро-

*) Английский консул.

умничать на допросе. Я неудачно сострил и скоро почувствовал на себе неприятность неуместных острот.

Не помню, что именно записано в протоколе допроса, мною подписанном. Близкое к тому, что с Локкартом никогда не был знаком, никогда его не видел и о самом заговоре узнал только из допроса.

На неудачную формулу следователя я неудачно ответил приблизительно так: “Я был бы польщен, если бы английское правительство интересовалось моим мнением. Но к сожалению этого не было”. Во время допроса в комнату вошел небольшого роста, пожалуй, приземистый бритый человек во френче, с неприятным лицом, холодными глазами и с какими-то жестокими чертами лица. Он молчаливо присутствовал при конце допроса. Впоследствии я узнал, что это был Петерс — его я увидел однажды при высочайшем его обходе ящика. Позже, значительно позже узнал, что и юмористический ответ мой ему не понравился. Не то что не понравилась неуместная юмористика в устах “арестанта”, — он все принял всерьез. Я не знаю прошлого Петерса. О нем ходило много достоверных легенд. Одно несомненно, это прошлое не способствовало быстрому освоению мысли Петерса, в руки которого была передана судьба стольких людей. Он не понял иронии моих слов. И позже, как мне передавали, сказал: “Но ведь он сам сказал — “К сожалению”...” Не ясно ли, что я антантовский шпион. Мне это стоило вскоре *нового полуторамесячного ареста* уже без всякого повода и основания — покушение на Ленина все же был повод для ареста оппозиционных интеллигентов и особенно представителей враждебных большевизму политических партий.

Закончилась наша беседа со следователем утверждением его, что я арестован, не как народный социалист, так как очевидно н.-с. не причастны к покушению на Ленина, а по связи с делом Локкарта. Нужно навести еще некоторые справки и, если выяснится непричастность моя к этому заговору, то я буду освобожден.

Тогда я заинтересовался узнать, почему надо было для подобного допроса вызывать меня ночью из Бутырок, куда я был препровожден всего только за несколько часов до допроса; подвергать меня всем тем ощущениям, которые связаны с мыслью о возможности расстрела.

— Это недоразумение. Вас отправили прежде, чем я успел вас допросить.

Так как мне предстояло вернуться в отвратительный ящик и пребывать в нем уже без всяких самых элементарных удобств, хотя бы умывания, я взмолился о возможно скорой переправке в Бутырки. В первый же день моего пребывания в ящике я увидел примеры, как арестованные, вызванные из Бутырок без вещей для допроса, днями ожидали своей очереди для отправки назад.

Перспектива такого прозябания не улыбалась, особенно при сознании, что жена моя будет уже знать, что я отправлен в Бутырки. Обещание о немедленной отправке мне было дано и действительно выполнено. Уже утром с некоторым даже почетом, ибо не со всеми, а в одиночном автомобиле, я был препровожден назад в Бутырки. При некоторой настойчивости попал в ту же камеру, где оставлены были мои вещи. Вам кажется это естественным. Нет, по какому-то своеобразному закону люди, привозимые с допроса, длящегося, правда, иногда несколько дней, попадали почти всегда не в свою камеру. И начиналась длительная история с добыванием своих вещей. Со мной так случилось однажды — и я более 10 дней вещей своих не мог получить. Хорошо, что моя жена, скоро получившая соответствующий опыт, догадалась на всякий случай доставить второй комплект всего необходимого.

Я в старой камере с теми же красноармейцами, устроившими мне довольно радостную встречу — они были убеждены, что меня уже нет в живых. Дорогие мои сокамерники сообщили, что соседи меньшевики, уже организовавшиеся и завязавшие связи с волей, сообщили, что меня ночью увезли, вероятно, на расстрел. Хорошо, что этот слух не успел еще дойти до моей жены, которая, обладая какой-то исключительной энергией и умением добиваться мне передачи съестных припасов при самых исключительных обстоятельствах, уже проникла в Бутырки и передала то, что мне было надо. Без этих передач, мое положение было бы действительно трагично, ибо по своему здоровью я не мог есть ни тюремной баланды, ни черного хлеба. Тюремный режим не воспринял еще коммунистических строгостей. Посему сношения с внешним миром устанавливались довольно просто. Три или пять рублей тому, кто принес передачу, и можно было передать записку. За керенку легко было отправить письмо непосредственно на квартиру.

Расстрел нескольких надзирателей, и опасность пользования их услугами при развивающейся системе провокации, не позволяли однако широко сноситься с волей такими способами.

Тюрьма носила все признаки еще старой тюрьмы. Утром в 6 час. совершалась проверка, все должны были выстраиваться в шеренгу в два ряда, и старший проверял наличность заключенных. Вечером такая же процедура. Позже, значительно позже, была введена демократизация — когда происходил счет, можно было сидеть на койках. Койки в течение дня поднимались. Впрочем, мы, интеллигентская группа, с первого же дня ввели новшество, пользуясь болезнью Копытовского, койки не поднимали. На такой протест остальная “пролетарская” часть камеры не решалась даже тогда, когда наша вольность получила все права гражданства со стороны тюремной администрации. Насколько

просты были нравы, показывает такой эпизод. Я спорил с товарищами, что из тюрьмы легко удрать. Так как удирать я не был намерен, зная, что к делу Локкарта не имел абсолютно никакого отношения, и что едва ли меня расстреляют без реального, конкретного повода, каким является заговор, и что у следствия не имеется никаких данных о существовавшем уже тогда Союзе Возрождения в России, в котором я принимал участие, — то я хотел указать лишь путь возможного бегства.

В тюрьме существовала церковь, куда водили по воскресеньям желающих. Тогда еще церковная политика большевиков не носила своего антирелигиозного характера, и тюремная церковь не была превращена, как то случилось впоследствии, в столярную мастерскую или в интендантский тюремный склад. Брели в церковь по пяти человек из камеры. Я вызвался пойти в церковь, хотел замешаться в толпу выходящих жен и родственников администрации. Так и сделал и неожиданно очутился в сборной. Еще шаг, и я на воле... Впрочем, этот шаг и был самый трудный. Это было озорство, опасное в другие времена, и я быстро ретировался назад.

В тюрьме была внешняя строгость, но не было той всеподавляющей нивелировки, при которой особенно тяжело переносить тюремный режим. Камеры запирались, но в камерах мы чувствовали себя свободными. Нам без затруднения передавали книги; мы захотели шахматы, нам из дому прислали их. Одним словом, тюремный режим был вполне сносен, особенно при довольно безразличном отношении администрации, в которой не было еще коммунистических ячеек. Любопытна психология этой тюремной администрации. В числе ее было много служителей еще царского времени. Она охраняла революционеров в те времена, она их охраняла при новом режиме, но также добросовестно и, может быть, даже с большим удовольствием она охраняла бы и теперешних правителей, если бы судьба превратила их из властей в заключенных. Такая психология показывает, как ошибочно представление о необходимости при изменении форм государственного строя производить изменения и всего персонального состава учреждений. Служба — профессия. И в каждой профессии есть свой служебный долг. Тюрьма не представляет в данном случае исключения.

В сентябрьские дни в тюрьме, может быть, было даже лучше, чем на воле. Если бы только не ужасные ночи, когда насторожившийся слух невольно болезненно воспринимает каждый посторонний звук, когда напряженная мысль безостановочно рисует картины смерти, которая витает кругом.

Ужасные, бесконечные ночи, которых так много проведено в месяцы своих сидений в советской тюрьме! Каждый этап воспоминаний

будет возвращать мысль и память к этому бытовому явлению “пролетарской” диктатуры.

Мое первое сидение, совпавшее с первой кровавой полосой террора, было наиболее слабое по впечатлениям в этом отношении. Нужна здесь непосредственность. К счастью мы были в такой камере, которая по своему составу исключала эту непосредственность. Из нашей камеры никто уже ночью больше не уводился. И только по освобождении мы узнали о том кровавом разгуле, которым ознаменовала власть покушение на жизнь своего партийного лидера. Уничтожались по разным городам и весям России сотни невинных в данном случае людей!

Первые дни сидения для нас были тяжелы в другом отношении. Мы были материально обеспечены, так как о нас достаточно заботились наши родственники. Но подчас кусок в горло не мог итти. Кругом 24 изголодавшихся красноармейца, молчаливо, только глазами следящих за каждым новым жестом. Удивительная застенчивость и скромность — ни разу не было случая, чтобы у нас что-либо попросили. Эти голодные, оборванные, грязные от трехмесячного сидения без белья и без бани были трогательны подчас по своим заботам. Они видели в нас людей иного порядка, иной культуры: они понимали, что мы не “буржуи” и “капиталисты”, что мы боремся идейно и за интересы большинства. Сказывалось это в мелочах: мне, писателю, ни за что не позволяли, да, не позволяли выносить парашу, чистить камеру и т. д. Благодаря энергии моей жены и кооперативным связям Беркенгейма, нам удалось организовать специальные передачи — хлеба, сахара, мыла, белья для всей нашей камеры. Мы не жили коммуной, но мы обеспечили всю камеру самым необходимым. Я достал для них книги и убежден, что эти люди никогда уже не были с большевиками. Установлению тесной связи с этой группой содействовало случайное обстоятельство — один из заключенных оказался моим сотоварищем по работе, как он гордо заметил. Я, конечно, этого не знал. Он был разносчиком одной из газет, в которой я участвовал. И позже от него и от многих других я получал письма. Я не отвечал, ибо знал, что мои письма для них только вред.

Наша маленькая интеллигентская коммуна, пополненная Фейгиным, жила дружно. Только впоследствии обнаружилось, что и здесь была доза лжи и приспособляемости в отношении одного из наших сочленов, именно “большевика” Каржанского. Его все забыли, несмотря на его письма и напоминания о себе. Я оказался прав, — он вышел на свободу после меня. Ему не делали и передач — кормила его коммуна. У него не было денег — давала коммуна, или вернее Беркенгейм и я.

Как-то мы решили отправить через надзирателя на имя моей жены письмо. Написал и Каржанский с просьбой доставить ему необходимые вещи — у него ничего не было. Впоследствии я узнал, что он писал своего рода политический донос на нас: он сидит в мало подходящей для него компании контр-революционеров и т. д. Этот неприятный человек в камере умел приспособиться к общему настроению.

Так мы просидели две недели. Первым вышел Беркенгейм, у которого умер брат, и которому разрешено было временно отправиться домой. Назад он уже не возвращался. Вскоре пришли и за мной.

Уже днем однажды меня вызвали без вещей. Я понял, что вызывают для допроса. Отвезли меня с торжественностью, которая могла несколько смутить. За мной с Лубянки был прислан шикарный автомобиль, который сопровождал шикарный юноша во френче, по внешности отнюдь не напоминающий собой стража для арестованного. Вышел я за ворота при полном свете дня и попал в толпу ожидавших очереди передачи родственников заключенных. Вероятно, меня приняли за какого-нибудь комиссара. Впрочем, в толпе оказались мои знакомые, которые просто недоумевали о причине моего торжественного выезда, о чем немедленно и сообщили моей жене.

На Лубянке ящик меня миновал. Я сразу попал в кабинет следователя. И по всей внешности было очевидно, что меня будет допрашивать лицо важное. Передо мной был человек, одетый в черный рендегот, напоминающий собой врача и вообще представителя интеллигентной профессии. Первое впечатление было благоприятное. Оказалось, что это был сам Дзержинский. Допрос свелся скоро к спору, отчасти теоретическому, отчасти на злобу дня. Я негодовал на террор. Тогда Дзержинский очевидно еще не вошел в свою роль. Может быть, он чувствовал тяжелую, моральную ответственность, которая ложится на него. Но он, возражая мне, волновался, несколько раз вскакивал и бегал по комнате. Спор зашел и о только что убитом Виленкине — большевики его расстреляли, несмотря на официальное обещание сохранить ему жизнь. Виленкин вошел в это время в нашу партию, был действительно связан с какой-то военной организацией. Многие из нас хлопотали за него при его аресте. Нам определенно сказали, что его не тронут и тем не менее расстреляли. Когда я указал на этот обман, Дзержинский заявил, что поводом для расстрела послужила организация его освобождения, хотя сам он непосредственно в этой организации не принимал участия. Попытка освобождения делалась помимо его воли. Точных подробностей я не знаю. Но суть дела заключалась в том, что однажды за Виленкиным приехал (в Бутырки) автомобиль с подложным ордером взять его на Лубянку. Ордер показался подозрительным, навели справку и обнаружили его подложность.

Во время допроса я, пожалуй, вновь смальчиствовал. В один из моментов, когда взволнованный Дзержинский вскочил со стула, я увидел у него на столе документ, касающийся "Союза Возрождения", и я его тут же очень ловко спровадил в свой карман... Часто я гордился потом своей ловкостью.

Вернее власть и мы не чувствовали еще того психологического водораздела, который потом нас разъединил. Дзержинский не забыл еще своего интеллигентского прошлого, а я... все-таки видел перед собой человека, вышедшего из одного круга со мной, с теми же психологическими основами, как у меня. Я не видел перед собой жандарма, который воспринял всю психологию полицейского сыска, который пропитался атмосферой, навыками и идеологией Охранных Отделений, с которым мы так недавно еще боролись совместно. Дзержинский был для меня еще недавним каторжанином, шедшим по этапу вместе с моим приятелем беллетристом Чулковым. И мне хотелось показать ошибочность пути, по которому идет Всероссийская Чрезвычайная Комиссия; ошибочность террора, его аморальность. Хотелось убедить фанатика, скоро превратившегося в циника.

Я хотел обрисовать перед ним режим демократической тюрьмы. Хотел воспользоваться благоприятным случаем, помочь своим красноармейцам, о которых очевидно власть забыла. Посадили без достаточного основания и забыли. Сиди! Бесполезно подавать заявления. Помнитесь приблизительно и ответ Дзержинского, характерный для представителя власти, определивший принцип, внедрившийся прочно в тюремный обиход:

— Какая беда, если эти красноармейцы просидят месяц, другой лишний. Нам нет времени заниматься пустяковыми делами. Вы сами согласитесь с тем, что им полезно немного посидеть в тюрьме, если узнаете, что они во Владимире пытались организовать еврейский погром.

Конечно, обвинение Дзержинский придумал во время беседы, так как он едва ли мог знать о существовании 24 красноармейцев, находившихся со мной в камере. Но он должен был знать, что власть, сажая для педагогики людей в тюрьму, не считает нужным их кормить!

Вспоминаю и еще один штрих, характерный для беседы. Мне пришлось указать по поводу каких-то слов Дзержинского на своеобразную демократизацию печати, которая усиленно проводится в советских органах: "сволочь" становится не только излюбленным, но, пожалуй, и одним из наиболее мягких ругательных эпитетов по отношению ко всем противникам советской власти.

— Я сказал не демократизация, а пролетаризация печати, —

возразил шеф советской полиции. Демократизация и тогда уже была пугалом для коммунистов...

Беседа наша, продолжавшаяся около трех часов, закончилась тем, что Дзержинский заявил мне, что я буду освобожден, так как за меня дал поручительство Дауге. Не рекомендуя возвращаться в тюрьму за вещами, где меня арестуют, Дзержинский лично написал пропуск для выхода из комендатуры В.Ч.К. В заключение, уже не в следовательском кабинете, разыгралась такая маленькая сценка.

Провожая меня в коридор, Дзержинский спросил: не поинтересуюсь ли я узнать, кто второй из коммунистов поручился за меня (полагалось два поручительства), и сказал: “я”! Последовала молчаливая сцена, так как я решительно не знал, что следовало сказать по этому поводу. Для Дзержинского это был красивый жест!

У БОНЧА*)

Меня освободили вследствие хлопот большевиков. Возбудили ходатайства Бонч-Бруевич, Керженцов, Дауге (написал Петерсу), Подбельский, Фриче, Рязанов, Луначарский, Ландер и др. Пошел я к Бончу поблагодарить и похлопотать о других н.-с. Назначил он мне свидание в Кремле. Пропустила девица по паспорту, — не застал Бонча. Второй раз не пропустили. Наконец, в третий — при входе в Кремль была оставлена записка. Удивило, что в Кремле только латыши. (Бонч сказал, что здесь их 1.000 квалифицированных коммунистов). Встретил, как будто бы ничего не произошло. Передает привет жене. Беседа бестолковая. Работает де над выпусками новых томов своих материалов. Презентовал новые свои книги. Я отказался — “я враг”, — “Так и напишу”. Я взял книги, чтобы он не надписывал.

— Ваш арест — просто недоразумение. Кеннегиссер назвал себя народным социалистом. Вот вас и арестовали. Теперь все выяснилось. Вы совершенно *гарантированы*...

Мы знаем, что кругом нас злоупотребления. Ведь 80 % у нас мошенники, примазавшиеся к большевизму. Происходит худшее, чем творилось в III-м Отделении.

— Но ведь это цинично.

— Что же делать. Мы боремся. Наша задача умиротворить ненависть. Без нас красный террор был бы ужасен. Пролетариат требует

*)Вл. Д. Бонч-Бруевич, наш давнишний знакомый, был в это время управляющим делами Сов. Нар. Ком. (П. Е. М.).

уничтожения всей буржуазии. Я сам должен был после покушения на Ленина быть для успокоения на 20 митингах. Сейчас уничтожены все свободы. Наша задача — укоротить период диктатуры. Наши дела плохи. Нас обманули немцы. Мы ждем наступления с юга и взятия Петрограда. Вы не поняли патриотизма Ильича. Старая армия должна была разложиться. Он собирал новую на Урале, которая должна была двинуться на немцев. Мы творим новую жизнь. Вероятно, мы погибнем. Меня расстреляют. Я пишу воспоминания. Оставляю их вам. Прочитав, вы поймете нас.

— Ну, меня раньше успеют расстрелять. Нас бьют и те и другие. Вы отдаете немцам золото и пр.

— Все это пустяки.

— А что вы организовали?

— У нас прекрасно организовались кожевенники!!!..

II. — ВТОРОЙ АРЕСТ

Но не долго мне пришлось погулять на воле: я не успел даже вытребовать из Бутырок свои вещи, как вновь уже попал в Бутырки месяца на 1 ½-2. Условия, при которых был произведен мой новый арест, довольно характерны.

Во время обыска при моем первом аресте были забраны у меня кое-какие бумаги, преимущественно статьи, предназначенные для помещения в "Голосе Минувшего", адресная книга сотрудников и т. п. Я подал заявление в В.Ч.К. с просьбой вернуть отобранное и в особенности то, что могло представлять интерес только для редакции журнала.

Через несколько дней с удивительной предупредительностью, которая впоследствии исчезла из обихода Ч.К., я получил бумагу, предлагающую мне лично явиться и получить документы. Личный вызов объяснялся тем, что необходимо просмотреть вместе со мной, так как мои бумаги спутались с другими. Я проявил некоторую наивность и в назначенный день и час направился в Ч.К., не захватив с собой ни денег, ни подушки, ни прочих тюремных прицендалов. Ведь я был освобожден под поручительство самого шефа. Не мог я ожидать провокации, ибо тогда совершенно бессмысленно было мое освобождение. Явившись в комендатуру с пропуском, который со сверхлюбезностью был прислан мне при бумаге на дом, я направился в назначенную мне комнату и спокойно ждал, беседуя с одним из с.-р., проводившим время заключения со мной и также пришедшим за документами, ждал, когда меня вызовут.

Ровно в 1 час дня, как было назначено в бумаге, появился товарищ и громко спросил: "Здесь ли гражданин Мельгунов?" Я откликнулся и тотчас же был арестован по ордеру, подписанному уже Петерсом. Позднее я узнал, что Петерс был противник моего освобождения, он не мог мне простить фразу об английском правительстве и, как только Дзержинский куда-то уехал, отдал предписание о моем аресте.

Говорят, у меня холерический темперамент. Провокационный способ моего ареста так меня возмутил, что я довольно шумно стал проявлять свое возмущение, сопровождая его громкими и нелестными эпитетами: называл их провокаторами.

Мне показалось, что и латыши в комендатуре были как-то смущены.

Может быть, непривычны были еще в достаточной степени провокаторские приемы, распустившиеся потом пышным цветом в практике Ч.К.; может быть, комендант знал о том, что я был освобожден вне обычного порядка лично Дзержинским, и видел во мне лицо, имеющее связи. Не знаю! Но вышло как-то так, что меня некоторое время оставили в покое и занялись обыскиванием другого арестованного, которого в это время привели.

Я был действительно вне себя. И так соблазнительно около меня была открыта дверь из комендантуры; так соблазнительно окружающие латыши на меня не обращали внимания, что я почти инстинктивно оказался за порогом. Не понимаю, как латыши в первое время этого не заметили... Я знал уже расположение комнат и направился к выходу, для чего надо было пройти через коридорчик, подняться на парадную лестницу и по ней спуститься к входной двери... По дороге стоял на внутреннем посту часовой. Здесь помог мне пропуск, сохранившийся в кармане со времени освобождения меня Дзержинским. Я сохранил его на всякий случай, когда у меня его не отобрали при выходе из Ч.К. Стоило теперь мне показать этот пропуск, как часовой свободно меня пропустил. Наивные и простые еще были времена. Я, не торопясь, чтобы не возбуждать сомнений, прошел коридорчик, поднялся на площадку парадной лестницы и уже подходил к входной двери, как меня окликнула какая-то женщина, присутствовавшая при моем аресте.

— Товарищ! Вы, кажется, арестованы? — Был большой соблазн сказать, что нет; но с другой стороны проскользнула мысль, что жена моя дома, что она будет арестована раньше, чем я успею ей дать знать, что едва ли мне что-либо угрожает. Я не стал отказываться.

— Зачем же вы сюда попали?

— Иду к Дзержинскому с жалобой на возмутительное поведение по отношению ко мне.

Недоумение и переполох! Меня водворяют в комендатуру. Что лопотали латыши, я не понял. Но, очевидно, они сами были смущены своей служебной небрежностью и предпочитали не поднимать истории...

Я был вновь водворен в ящик. Здесь я застал многих из старых знакомых; увидел многих из тех, которых видел в первый день своего ареста. Некоторые сидели уже неделями здесь в этом шумном ящике, где почти невозможно было спать и от клопов и от гама, — и ожидали допроса. Другие были привезены из Бутырок на допрос, конечно, без вещей — ведь допрос длится самое большее несколько часов, — и

ждали днями этого допроса. Часто бывало, что привезенного на допрос через несколько дней отправляли в Бутырки, не допросивши. Это было такое издевательство над личностью арестованного, что большее трудно себе представить. У всех нервы напряжены и издерганы до последней степени. А здесь ночные сцены с увозом куда-то людей.

Когда ночью вызывали сразу несколько человек и уводили в сени перед ящиком, где пребывала стража, при чем закрывались двери, тогда говорили, что это повезли на расстрел. Не знаю, так ли! Я ни разу не слышал борьбы, протеста, шума. Но, может быть, молчаливо все шли на заклание и молчаливо предоставляли связывать себе руки? Меня всегда удивляла эта пассивность у людей, для которых все равно наступал конец. Очевидно теплилась надежда до самого последнего момента! Вдруг какая-нибудь случайность, и останешься жив!.. Такие случайности бывали.

Я знаю одну из них, так как слышал непосредственно от Ив. Пав. Алексинского, принимавшего участие в спасении одного из таких случайно уцелевших после расстрела. Это был юноша 18-19 лет. Его повезли на расстрел куда-то за город. Тогда расстреливали, повидимому, не специальные палачи, кончавшие со своими жертвами в подвалах Ч.К. револьверным выстрелом. Расстреливали красно-армейцы — русские или китайцы? Не все ли равно.

Он был только подстрелен. Ему удалось ползком куда-то проползти и спрятаться. С рассветом он добрался до жилья. Попал на хороших людей и был перевезен в больницу...

Вывозили ли этих людей ночью из ящика на расстрел, или то была только молва — для психического состояния заключенных было безразлично. Все знали, что еженощно где-то идут расстрелы. Шумит ночью автомобиль. Это пустили нарочно, чтобы заглушить выстрелы: расстреливают здесь в сарае на дворе напротив окон ящика, где мы сидим. Может быть, и это не так было в то время, о котором я говорю. Может быть, так казалось расстроенному воображению. Насколько тяжело ощущать такую смерть вблизи, почти при ней присутствовать. Отвлеченная жалость, отвлеченное негодование далеко не равнозначущи тому чувству, которое испытываешь при непосредственном наблюдении несчастья. Разве в обыденной жизни каждый из нас не ощущал этого много раз!..

Я видел здесь людей, душевно истерзанных, порою невменяемых, способных не только выдавать, но и выдумывать несуществующие разговоры. Их тем не менее по использованию в целях политического сыска расстреливали. Но система достигала своей цели. Особенно ярко стоит в моей памяти фигура одного шт.-капитана, арестованного где-

то в Смоленске. Его все чуждались, потому что шла глухая молва, что он предатель. После двухмесячного сидения в страховом ящике, без копейки денег, без возможности положить голову на подушку, переменить белье и вымыться с мылом, освободиться от съедавших его вшей, — это было жалкое и несчастное существо. Голодный, он ходил и попрошайничал у всех: папиросы, кусок хлеба. Нервно вмешивался во все разговоры, всех раздражал. И особенно немногих французов, в то время арестованных. Среди этих французов был и мой хороший знакомый проф. Мазон, автор известной работы о Гончарове, некогда бывший преподавателем в одном из московских средних учебных заведений, имевший некоторое отношение к французской миссии, но главным образом занимавшийся собиранием материалов о революции для Парижской Национальной библиотеки. Французы получали прекрасные передачи от своего Красного Креста. Естественно, к ним льнули все голодные. Это чрезвычайно раздражало иностранцев. Они нередко с раздражением отмахивались от назойливых мух. Было горько видеть русского офицера в таком положении, а в то же время до некоторой степени было психологически понятно состояние французов.

Должен сказать, что как-то инстинктивно с брезгливостью относился и я в тюрьме, когда видел человека, роющегося в помойке и выбирающего там куски съедобного. Это преимущественно делали китайцы. Сознание говорило, что голод превращает человека в животное, и все-таки чувство отталкивало.

Поэтому я решительно отказывался от всего, что мне предлагали французы, хотя и пришлось два дня голодать, так как при неожиданном аресте я не был подготовлен для тюремного сидения...

Тюрьма, как это ни странно, не развивает добрых товарищеских чувств; скорее, как никогда, усиливается эгоизм, может быть, от сознания того, что пятью хлебами нельзя накормить пять тысяч человек. При товарищеском дележе ты сам обречен на полуголодное прозябание. И все-таки господствующий эгоизм поражал — каждый думал только о себе.

Была и юмористика. Например, при мне уже несколько недель сидел какой-то молоденький подпоручик на том основании, что он де великий князь Игорь Константинович. Ничего великокняжеского в нем не было — весь демократический облик подпоручика тому был свидетелем. И тем не менее он сидел, а, может быть, и погиб за свое кажущееся сходство по представлению какого-нибудь комиссара.

Юмористика в тюрьме всегда сопряжена с драматическими тонами. Как-то днем к нам привели странную фигуру, арестованную яко бы на Кузнецком Мосту. Фигура была в состоянии явно невме-

няемом и звали ее Китом. Такова была фамилия этого вновь прибывшего. Он был весь избит и в крови. Вскоре он впал в обморочное состояние. Пришедший фельдшер привел его в чувство и заявил, что Кит просто пьян. Для отрезвления его отправили в одиночку, в одну из тех двух одиночек, которые находились в преддверии к ящику. Он буйствовал в этой одиночке всю ночь, распевая песни. И какие песни! Вдруг мы услышали блестяще выполненный на губах гимн за царя! Получивши соответствующее количество колотушек, он замолк. Тут началась комедия, действующими лицами которой явились и представители тюремной администрации. Бывают от природы юмористические фигуры — один вид которых возбуждает смех и желание у некоторых подтрунить над человеком. Даже незлобивая насмешка в тюрьме становится издевательством над беззащитным арестантом, если насмешка идет со стороны властью располагающих.

Надзирателями были два типа, отличавшиеся своей грубостью. Идеал “пролетаризации” был вполне достигнут. Один из них — латыш; другой — русский, о котором мне еще придется говорить. Это был до некоторой степени знаменитый “комиссар смерти” Иванов, впоследствии расстреленный, кажется, за какое-то значительное воровство. Среди его функций был и вывоз людей на расстрел...

Оба стража решили позабавиться над Китом, присмирившим после “отрезвления” и молчаливо взиравшим в небольшое решетчатое окошко, проделанное в тесе. За столом сидел привилегированный заключенный, следователь Ч.К. Ильяшевич, посаженный за какие-то коммерческие аферы с одеколоном. Единственно, в чем сказывалась демократизация тюрьмы! — и свои попадали при аресте в те же условия, что и противники советской власти. Ильяшевич был явно человеком ненормальным, производившим впечатление прогрессивного паралитика. Как привилегированному, как члену коммунистической партии и следователю Ч.К., впоследствии вновь вернувшемуся к выполнению своих обязанностей (на долго ли? — не знаю), Ильяшевичу была дана бумага и разрешено было писать объяснения начальству. Он сидел целую ночь и строчил, строчил с упоением, вскакивал, ерошил волосы, бегал, присаживался, вновь вскакивал. И писал, писал всю ночь! Те, кто не мог спать, видели это усиленное творчество через отворенную дверь.

“Это он на тебя строчит донос” — подзуживает Кита “комиссар смерти”. Кит входит в раж, но одиночка заперта, и Кит бессилен противодействовать доносу. Под утро открывают одиночку.

— Смотри! сколько он на тебя настрочил.

Освобожденный Кит, тихонько подкравшись к увлеченному писа-

тельством следователю, быстро выхватывает листы и рвет их на мелкие кусочки. Пропал весь ночной труд. В ярости бросается Ильяшевич на Кита, и начинается потасовка, вызывающая хохот у администрации и, к сожалению, у части заключенных.

Существовало когда-то предрассудочное убеждение, что будто бы советская власть обрушивалась преимущественно на буржуазию. Будущая тюремная статистика, конечно, покажет иное соотношение цифр. Уже тогда, когда я только что начинал эру своих тюремных сидений, едва ли 10 % интеллигентных сидельцев набралось бы среди всей массы арестованных*). Эта толпа была в достаточной степени некультурна и охоча до развлечений в серой, будничной тюремной обстановке.

Ильяшевич и Кит сделались объектами посмешища и издевательства не только скупающей администрации, но и скупающих заключенных. Сказывалась и другая черта толпы, приспособляющейся ко вкусам начальства. Последнее веселилось; веселье происходило по его инициативе — следовательно, участие и потворство его выходкам будет своего рода подлаживанием под начальственный тон. Таким образом значительная часть многочисленной камеры приняла участие в комедийных действиях.

Ильяшевичу вновь дана была бумага, вновь он писал свои бесконечные объяснения. А Кита подзуживали:

— Это он на тебя пишет донос! — Ловкий скачек! вновь написанное в руках торжествующего Кита, и вновь все подвергается уничтожению. Так было до трех раз. Последняя схватка стала переходить уже границы возможного, так как боевые настроения слишком накалились.

— Ну, довольно!

Но грозный окрик начальства уже не способен был остановить петушный бой.

— Расходись по местам! Вы, сволочи! Будет драться!

Комиссары растащили вцепившихся друг в друга Ильяшевича и Кита.

Уже не помня себя, Кит бросается на комиссара:

— Что же и тебе захотелось!

*) На Лубянке сидели: 1) осужденные за воровство; 2) задержанные за пьянство; 3) фальшивомонетчики; 4) политические; 5) преступ. по должности; 6) спекулянты. Спекуляция — очень часто сознательная провокация: являлись к кому-либо с спекулятивным предложением от В. Ч. К. Шедшие на это арестовывались. Бывало тоже, что представители В. Ч. К. были фальшивые. Когда это выяснялось, то тем не менее арестованные продолжали сидеть.

Был поруган авторитет начальства. Бедный Кит! Тут же на месте началось жесточайшее избиение Кита револьверными рукоятками. Оба комиссара проявляли достаточно энергии. Толпа, только что участвовавшая в комедийных действиях, служивших для ночного развлечения скушающих комиссаров, молча взидала на расправу. Я не мог больше выдержать! И вмешался, потребовав прекращения безобразной сцены. В противном случае я немедленно требовал вызова коменданта.

— Ну ты, молчи, не в свое дело не вмешивайся!

Несмотря на сей грозный окрик, избиение прекратилось, и Кита потащили в одиночку. Избиение прекратилось! Как действительно опасно вмешиваться при бессилии что-либо сделать. Затворили дверь. Мы не знаем, что там происходило за нашими глазами. Слышались только раздирающие душу крики Кита, стоны. — Наступила тишина...

Когда через час, другой мы проходили в уборную мимо одиночки, где заключен был Кит, мы видели только его залитую кровью рубашку...

Не знаю, что было дальше... Меня вскоре увезли в Бутырки.

До перевоза в Бутырки я был допрошен “следователем”, неким Шпаровским, довольно тупым господином. Он, повидимому, не знал об условиях моего ареста и допрашивал меня только внешне, чтобы заполнить формальность (я принадлежал всегда к числу тех немногих, по отношению к которым соблюдались эти узаконенные формальности), пользуясь протоколом моего первого допроса. После обычного вопроса, который задавали следователи: в чем вы обвиняетесь? следовали вопросы об иностранном десанте, о Локкарте и т. д. Была и отсебятина у Шпаровского: “Как вы относитесь к социальной революции?” — спрашивает Шпаровский.

— Окончимте официальный допрос, и я охотно расскажу вам о своих точках зрения.

— Допрос окончен.

— Я не верю в возможность социальной революции в Европе.

— А как же об этом пишут “Известия”. Следовательно, вы не верите им?

Я мог только расхохотаться на эти наивные следовательские сентенции, которые, повидимому, были произнесены с полной искренностью и убежденностью...

Увезли меня в Бутырки уже в общем порядке, в закрытом тюремном автомобиле, где, как сельди в боченке, были напиханы арестованные. Двадцать минут переезда были мучительными минутами для некоторых — один пожилой военный впал в обморочное состояние от

духоты в карете, где люди стояли, сидели и лежали друг на друге в перемешку с вещами. Из кареты вылезли совсем обалделыми...

В Бутырках я попал в так называемый пересыльный корпус, наименее приспособленный для долгого тюремного пребывания. Здесь не было коек. Лежать приходилось на сплошных, низеньких деревянных нарах, расположенных на $\frac{1}{2}$ аршина от пола. Состав камеры семьдесят пятой, по своему социальному положению крайне пестрый, был небезинтересен с бытовой стороны. Прежде всего целый штаб какой-то красногвардейской части — человек 7-8. Это громкое наименование можно было применить только с большой осторожностью к группе, которая предстала мне: во главе полунинтеллигент лево-эсэровского направления и ряд типичных писарских физиономий старого полицейского участка. Далее рязанский губернский политический комиссар — разудалый молодой матрос; латышский стрелок — следователь по делу Кокошкина; областной, кажется, тверской комиссар — молодой латыш; еще 2-3 латышских стрелка и среди них “племянник” самого Стучки. Три типичных, мелких уголовника, три представителя буржуазии — инженер, занимавшийся шоферным делом, помощник бухгалтера — тип молодого человека из галантерейного магазина, едва ли имевший хоть косвенное отношение к политике, думающий только о прическе и своей невесте; конторщик мебельного магазина.

И, наконец, три представителя старой полицейской власти. Немолодой уже жандармский полковник, командовавший полицейскими нарядами при императорских театрах; помощник пристава — разбитной паренек, по виду продувная шельма и латыш — исправник в одной из прибалтийских губерний.

Группа латышских стрелков в коммунистической тюрьме являла собой исключительный интерес. Упомянутый областной комиссар, попавший, повидимому, в тюрьму за свои комиссарские художества, обладал значительными деньгами. Он сам хвастался, что при аресте у него отобрали 100 тыс. — в то время деньги еще весьма значительные. Он получал с воли огромные передачи. Ему приносили целые сиги — для того уже времени являвшиеся редкостью и деликатессами в Москве. Он все это поглощал один, изредка делясь с “племянником” Стучки. Вообще латыши коммунисты проявляли в тюрьме весьма относительный коммунизм. Моим соседом по нарам был как раз тот матрос, который состоял рязанским политическим комиссаром. Здоровый малый отвратительно себя чувствовал на голодном тюремном пайке. Пришлось мне его подкармливать, за что рязанский комиссар, недавний областной помпадур, бегал для меня за кипятком, был подобострастно и назойливо услужлив без надобности, так что это было только противно. Он мне рассказывал, как у него все было хорошо — никаких

насилий; поэтому он и пострадал. Позже я узнал, что этот матрос был взяточник, прославившийся своими действиями в Рязани. Это был зверь, расстреливавший собственноручно в Елатье заподозренных в контр-революции. В тюрьме это был зверь ручной. И при встрече с такими людьми не знаешь, где граница хамства природного от наносного влияния тлетворной демагогии, где подлость людская граничит со слепым непониманием... Но во всяком случае это был один из вершителей судеб отечественных, один из исполнителей всякой власти, один из тех, на которых власть вынуждена была опереться.

Не менее типичен был латыш-исправник. Он изводил меня своими расспросами: расстреляют ли его или нет.

Кто побывал в большевицкой тюрьме, тот поймет, как тяжелы эти расспросы политических обывателей. Суждения писателя и общественного деятеля им кажутся более убедительными и авторитетными. И вот начинается выпытывание, способное измочалить всю душу. — “Нельзя расстреливать только за то, что я был исправник. Я всегда защищал коммунистов”. И тут же рассказ о том, что вчера расстреляли такого-то. “А меня, как вы думаете, расстреляют или нет?” Его не расстреляли, — он сумел приспособиться к режиму и занять соответствующий пост. Когда сидишь в камере с людьми, являющимися кандидатами на расстрел, чувствуешь не только моральный ужас, но и всю бессмыслицу террористической системы, и особенно в том ее виде, как она с самого начала применялась большевиками.

(Январь 1923 г. записано)

Запомнилась отчетливо фигура театрального жандарма. Молчаливо сидит он на своих нарах и вяжет чулок. Более безобидную фигура трудно себе представить. Помощник пристава за ним ухаживает, как за больным дитёю. И вдруг вызов в город без вещей днем. Побледнел, но все его успокаивают — раз днем, то это на свободу. То же подтверждает и страж... Перекрестился старик. Вчера от жены получил записку, что ей обещали скоро его выпустить; ведь он не политический жандарм. Почему без вещей? копошится в сознании. Но ведь днем — следовательно на допрос...

На другой день пришли за вещами полковника, его освободили; жена пришла за вещами. А через день узнаем, что наш сосед расстрелен. Почему? и почему именно он, когда страдная пора расстрелов уже прошла?

Мне хотелось уйти из этой камеры. Я уговорил надзирателя свести меня в ту камеру, где я был, где остались мои книги и вещи. Пошел за погребцом. Красноармейцы были на месте, но Назарианц

переведен был в одиночку. Пошли и туда, и неожиданно появился перед форточкой камеры Н., немного поговорили. Я решил искать возможности быть помещенным в одиночку. Но это очень трудно было — нужна была протекция, болезнь или особое предписание о заключении в одиночке.

За керенку удалось снестись с женой. От нее записка — “переходи в больницу, подай заявление старшему врачу”*). Я привык слушаться того, что предписывают с воли. В больницу не хотелось идти. Все рассказывали о ней ужасы. Придется быть вместе с уголовными. Тем не менее к врачу пошел. Он был уже предупрежден и, когда я сказал о болезни, был отправлен в больницу. Врач намекнул, что там будет не так плохо.

Итак с одного двора на другой — через глухую стену, которая отделяет тюрьму от больницы. В ней свой штат, своя администрация, свой заведующий. В первый момент страх взял, когда пришлось раздеться, отдать башмаки, надеть рваный, отвратный, грязный халат и пр. Смерили температуру, и фельдшер направил в палату № 10.

Здесь я все понял. Это была привилегированная палата для политических заключенных, которую создал врач. Как это терпелось до поры до времени — Аллах ведает. Я сразу увидел знакомых: Флерова**), молодого К., еще двух врачей, бывшего губернатора, бывшего жандармского начальника, молодых офицеров и т. д. Я получил хорошую койку у окна, принесли мне чистый халат, и я почувствовал себя человеком. Вскоре переведен был сюда А. А. Кизеветтер. Зажили мы сообща.

Была прекрасная осень. По утрам нас водили гулять в садик при больнице. Было холодно в туфлях, в халате; с большим трудом удалось получить свои башмаки. Остальное время читали и работали. Иногда мы чувствовали, какой ужас попасть в камеру с уголовными, которые помещались под нами. Однажды ночью они так разбушевались, что стоны и крики были слышны несколько часов. Казалось, что кого-то убивают, но никто не приходил утихомирить волнение...

Но я хочу говорить только о тех специфических чертах, которые выявляла большевицкая тюрьма. Прежде всего о составе камеры и о других соседях. На прогулке мы встречались с этими соседями***).

*) Ныне покойный доктор И. А. Голубенцов, очень много делавший для заключенных (П. Е. М.).

**) Случай с директором гимназии Флеровым: арестовали педагога Баркова, он написал открытку с Лубянки Флерову. Арестовали Флерова. Баркова выпустили через неделю, а Флеров сидит два месяца. Дело потеряно.

***). Например, Ремнев — инициатор всех протестов. (Провокация перед празднеством — предложение голодать).

Можно отметить колоритные фигуры двух “коммунистов”. Один из них “художник” Селезкий, кажется, нарисовавший какую-то символистическую картину большевицкого рая, назначенный вначале “комиссаром” по делам церковным, а затем заведывавший банями на фронтах. Над этой юмористической фигурой издевался другой коммунист — небезизвестный Кремнев, первый покоритель Киева, попавший в тюрьму за какие-то художества и, кажется, за чрезмерность насилий в дни своего командования. Здоровый, ражий мужчина, который в компании занимался тем, что раздевал до-гола Селезкого и пускал его в мороз гулять. Гоготали и коммунисты-арестанты, гоготала и “коммунистическая” стража.

С нами в камере сидел один примечательный человек: Варнава... Иван Александрович Варнава убеждал, что он не тот Варнава, что с Распутиным. Передачи ему были через Решетниковых*). Он служил по субботам всеобщую. Поминал большевиков. Я указал ему на это — “Да эта власть от Бога, власть народная. Подлая власть Временного Правительства”. Все время сам подходил ко мне с крестом...

Однажды меня вызывают в кантору. Там встречаю я незнакомого мне человека вида просвещенного европейца с комендантом В.Ч.К. Человек приподнимается при моем входе и говорит:

— Позвольте вам представиться. Вот при каких обстоятельствах я имею удовольствие с вами познакомиться. Я получил от В. Г. Короленко письмо с просьбой о вас. Я с удовольствием беру вас на поруки. Через несколько дней вы будете освобождены. За мнения наше правительство не преследует, а то бы пришлось держать десятки тысяч людей.

Это был Раковский.

Беседа наша была незначительна, но она имела магическое действие на окружающих. Свидание было при коменданте. Заключенный, у которого в тюрьме был сам министр, чего-нибудь да стоит. Через несколько дней я получил вызов в Ч.К. с вещами. Приезжает сам комиссар смерти Иванов. Он, как я говорил, возил людей для “земли и воли”, так именуют в тюрьме расстрелы. Любезен до чрезвычайности; сам помогает донести вещи до автомобиля. — “Я должен был вчера ночью приехать, но не хотел беспокоить: не за одними расстрелами я приезжаю”.

И вот я опять в В.Ч.К. Тот же комендант встречает, как своего друга.

*) У Решетниковых нередко останавливался Распутин, приезжая в Москву (П. Е. М.).

— Товарищ Мельгунов к товарищу Козловскому. — Некому меня вести. Есть одна только женщина.

— Ну, товарищ Мельгунов свой, он может и один пойти.

Меня повела женщина. Эта вольность позволила мне присутствовать при интимной сцене. Привела меня эта женщина наверх, ввела в какую-то комнату и пошла доложить. Там сидело 3-4 “товарища”. Видя меня в сопровождении женщины, приняли почти за своего. Они вели оживленную беседу.

— Отчего был переполох сегодня? Не знаешь, в чем дело?

— Да все эта статья в “Еженедельнике” о пытках.

Я не понимал в чем дело и слушал, ожидая интересного (дело касалось знаменитой статьи в № 3 “Еженедельника”, наделавшей шума, как я понял). Заметив это, они спросили, кого мне надо. Я сказал — никого. Я арестован.

Каково было их смущение!

— Зачем же вы здесь?

— Не знаю.

— Пойдите в коридор и ждите там.

Я минут 15 ждал в коридоре один, и опять был соблазн улизнуть. Но казалось это глупым.

Наконец, ко мне вышел толстенький “буржуйчик” довольно неприятного вида. Это и оказался Козловский, которого я увидел в первый раз*). Его хихиканье, его ласковость с стремлением подсесть производили столь отвратительное впечатление, что я еле сдерживался, чтобы не сказать дерзость.

— Я должен вас дополнительно допросить. Надо выяснить один вопрос, оставшийся неясным после первого вашего вопроса. Поэтому и вынуждены были вас еще раз арестовать. — Когда он стал говорить, что н.-соц. призывают иностранцев, я не мог удержаться от того, чтобы не сказать, что это делают большевики, которые опираются на немцев и латышей**). Задавая те же, что раньше, вопросы, он вытаскивал какую-то стенограмму, найденную у меня при обыске. Никакой стенограммы в действительности у меня не было. Я так и не знаю, случайно ли она попала в мою папку или сознательно.

*) Козловский — представитель комиссара юстиции Курского в В.Ч.К., т. е. в Контрольной Комиссии. Контрольная Комиссия могла не утверждать арестов но не имела права вмешиваться в приговоры.

**) Это и было роковое. Если прежде ни за что не хотел меня выпустить Петерс (буржуазная мысль Раковского по его мнению), то теперь явился Козловский...

— Раковский сказал, что я буду освобожден.

— Да, но надо выяснить еще некоторые детали.

— Неужели опять идти в этот клоповник?

— Хе, хе! Ну, на несколько часов, может быть, до завтра.

Опять я в клоповнике. Он, конечно, мало изменился. Вот сидит молоденький офицер, которого принимают за в. кн. Игоря Конст. Здесь я увидел Малиновского. Он похож был на водовозов в своей шерстяной вязаной рубашке. Он все писал объяснения и не ожидал, что будет расстрелен. Он им поверил, что простят.

Проходили дни, меня не вызывают и не освобождают. Ужасные пять дней. Наконец, назначают на отправку в Бутырки. Но комиссар по собственному почину оставляет — “что вас возить, ведь вас сегодня, завтра освободят. Наведу справку”.

Очевидно, навел и отправил опять в “черном вороне” без почета. Но все-таки слухи шли со мной. Мне удалось избежать чистилища дезинфекционной и опять сразу попасть на старое место в больницу.

Опять началась старая жизнь, которую нарушали неприятные осложнения — обыски, появления комиссара смерти Иванова и т. д.

Пришел, наконец, момент, когда меня выпустили.

III. — В О С О Б О М О Т Д Е Л Е

Начало весны 1919 г. Привычно ждать обыск и арест ночью. Поэтому вечером сидишь спокойно. Канун шестой недели Великого Поста. Звонок... И сразу определяешь, что тебя пришли арестовать. Невзрачного вида комиссар — типа из сысской полиции — с двумя красноармейцами.

— Руки вверх.

Личный обыск.

— А мы вас ищем с пяти часов.

Предъявляют ордер об “аресте служащего в “Задруге”, находящейся по Крестовоздвиженскому пер.”. Приехали туда и постепенно в поисках указанного “служащего” добрались до меня. Необычайный ордер свидетельствует о чем-то странном. Меня слишком хорошо знали большевики, чтобы писать об аресте “служащего” “Задруги”. Совершенно очевидно, что арест не связан с моей непосредственной политической работой.

Опять библиотека и архив ставят исполнителей власти в трудное, непредусмотренное положение. Как обыскать? Ведь здесь просидишь неделю. Звонят в Особый Отдел за инструкциями, но там по раннему времени никого еще нет. Как быть? Предлагаю, по примеру бывшего прецедента, просто запечатать комнаты до выяснения обстоятельств. Я знаю, что это, может быть, лучшее средство избежать тщательного обыска. После некоторого колебания и поверхностного обыска соглашаются. Но возникает затруднение. Не предвидели возможность такого казуса — не захватили печать. С некоторым легкомыслием и поспешностью предлагаю запечатать печатью масонской ложи “Астрей”. Это оказалось, как я уже рассказывал, чреватых последствиями. Возникло подозрение, что я масон.

Формальность совершена. К счастью к этому времени приходит жена и быстро собирает нужное в дорогу — длинную или короткую, кто знает. Комиссар, как всегда, считает нужным советовать — ничего не брать:

— У нас кормят хорошо, не как в В.Ч.К. Да ваше дело пустяковое — через 2-3 дня выпустят.

То, что у комиссара нет автомобиля, и сам комиссар какой-то общипанный, убеждает еще больше, что тот, кого хотели арестовать, в сознании властей не ассоциируется со мной. Приходится плестись пешком с тюком вещей. У Никитских ворот попадаетея извозчик, который к своему несчастью должен нас везти даром. Впрочем недалеко.

Особый Отдел, в то время только начинавший развертывать свою деятельность, помещается близко к Знаменке в Малом Знаменском пер. в доме Петрово-Соловово. Дом хорошо знакомый, там в нижнем этаже жил историк Готье.

По дороге комиссар, типа старого служащего из сыскного отделения, вступает в откровенную беседу.

— Прежде лучше было служить. Знаешь, за чем посылают.

— А вы где служили?

— В контр-разведке.

Механически из старой контр-разведки перешел в Особый Отдел, ведающий политическим сыском в армии, поэтому и помещающийся около Александровского Училища — Главного Штаба.

В Особом Отделе все еще примитивно, патриархально. Принимают арестованного какие-то заспанные юноша и девица с весьма поверхностным обыском. Время — полночь; ведут в тюрьму.

Патриархальная тюрьма Особого Отдела в то время была своеобразным учреждением. Представьте себе небольшую комнату в маленькой чистой квартирке во дворе в три комнаты с кухней — вероятно, прежняя домовая контора. Тюрьма — не тюрьма. Население, как всегда, смешанное. Стража исключительно латышская — грубая, жестокая, но в то же время и добродушная.

Все уже спят или лежат на койках. Вижу близкого человека Н. А. Огородникова. О своем знакомстве не показываем вида. Через некоторое время подходим к друг другу, только обменяться впечатлениями.

Н. А. Огородников, связанный непосредственно с военной организацией, или совсем глупо с своей психологией человека, далекого от конспирации, с психологией нежелания скрываться. Этот предрассудок у многих из нас был силен. Он жил в Трубниковском пер. один в квартире. Возвращаясь ночью, видит свет у себя. Ясно, что там засада. И все-таки идет. Оставить тюрьму ему уже было не суждено. Очень заносчивый первые дни, уверенный, что его выпустят, через неделю он был совсем уже другой... По отношению к Кедрову*) Н. А. Огородников был в особом положении. Он спас его брата когда-то. Может быть, это и спасло его жизнь в то время. Он был увезен в

*) Начальник Особ. Отдела.

Бутырки для того, чтобы через ½ года быть расстреленным попутно в связи с делом Н. Н. Щепкина...

С нами сидит военный герой, арестованный за какие-то недоразумения. Его Огородников пытается распропагандировать. Он кажется ему честным воякой из новых людей... Здесь же какой-то старый артист — из какого-то увеселительного учреждения. “Коммунист”, ухитрившийся из Особого Отдела ездить с латышами к себе на квартиру. Он был большой их друг и веселил стражу. Он, действительно, неподражаемо пел интернационал. В соседнюю комнату привели женщину-латышку, жену одного из служащих в Особом Отделе, обвиняемую в службе в Охранном Отделении. Ее навещал муж, друзья его, служащие в Отделе. И иногда они в тюрьме устраивали пьяную какофонию; помню, решили печь блины. И всю ночь шло гулянье в соседней комнате.

Как это мало напоминал Особый Отдел через ½ года.

Когда нас было пять человек, сидеть было сносно. Но когда в эту малюсенькую комнату приехало несколько десятков арестованных в Твери курсантов, легко себе представить, что это было.

Дело подходило к Пасхе. Была чудная погода. Нас выводили гулять во дворик Петрово-Соловово, чтобы наколоть дрова — сами топили, — заставляли чистить двор. Как впоследствии оказалось, это была обязательная работа. Чистку двора мы принимали за своего рода любезность (легко себе представить атмосферу в нашей переполненной комнате), и с чрезвычайной охотой 2-3 часа работали.

Патриархальность сказывалась во всем... также патриархально расстреливали...

Почему меня арестовали? Из допроса на другой день следователя Ивановского, допроса чисто формального, выяснить не могу.

Во главе Особого Отдела стоял тогда Кедров. Через день меня вызывают к нему. Тут выясняю, что арестован я по оговору полковника Ткаченко*), который показал, что через меня у него и его организации установились связи с московскими политическими кругами. Кедров с своей откровенностью дает прочесть показания Ткаченко. Он погиб, и ничего плохого теперь о нем говорить не хочется. Но, прочитав показания Ткаченко тогда, я решил, что мне нечего его особенно оберегать. Его показания, перемешанные с ложью, с явным желанием получить искупление выдачей другого, заставили меня сказать правду в тех пределах, которые были известны следователям. Эта правда облегчала мое положение и отводила от опасных для меня подводных камней.

Я не отрицал знакомства моего с Ткаченко. Этот полковник по-

*) О Ткаченко С. П. говорит в первой половине своих воспоминаний 1918 г.

явился на горизонте московском в дни революции. Проявлял активность... Постепенно он исчез с влиятельных постов. И после захвата власти большевиками вновь выплыл во главе уже военной организации, которая примыкала к с.-р. Как я говорил уже раньше, с рекомендацией с.-р. Ткаченко явился ко мне для того, чтобы я его свел с другими общественными организациями. Я это сделал, оговариваясь, что Ткаченко мне лично не внушает полного доверия. Он был у меня раз, был в сущности в редакции "Нового Слова", помещавшейся в нашем ("Задруги") помещении.

Приблизительно это я и показал, отметив, что едва ли можно доверять показаниям Ткаченко. В силу некоторой несурaziцы в его показаниях, мне удалось поколебать Кедрова. Одновременно с показанием Ткаченко поступило другое показание. В помещении, соседнем с "Задругой" и объединенном с ней одной общей входной дверью, была обнаружена какая-то "конспиративная квартира", весьма сомнительного свойства — скорее спекулянтского характера. В сознании Кедрова оба доноса, обе квартиры объединились в одно, и мне нетрудно было показать территориально несурaziцу всего этого.

Мое дело осложнилось пресловутым масонство...

Мне удавалось довольно просто переписываться с женой. Кедров разрешил получать книги. Я писал несуществующие названия книг, упоминая какие-нибудь понятные для жены слова в заголовке. Она понимала, что надо спрятать. В этом отношении я был счастлив и в это время и в будущем. Большевики были еще неопытными сыщиками и всегда дрейфили.

При запечатывании комнат им никогда не приходило на мысль, что они оставляют лазейку... Пять комнат у нас были заняты архивом и библиотекой. Я всегда хранил у себя всю нужную переписку, хранил в третьей комнате, не без основания думая, что, дойдя до третьей комнаты, обыскивающие устанут, потонут в груде бумаг. Действительно, надо было сидеть две недели несколькими людьми.

Из второй комнаты в переднюю выходила дверь со стеклянным верхом. Дверь с обеих сторон была заставлена шкапами с книгами. И эта дверь никогда при 21 обыске не была обнаружена. Пролезать через нее нельзя было, ибо пришлось бы отодвигать шкапы, которые естественно можно было бы поставить на старое место только с одной стороны. Но можно было вынуть стеклянный верх двери и пролезть через него на верх шкапа с другой стороны двери. Это и делалось систематически, и систематически моя жена изымала то, что не должно было попадаться в руки большевиков.

Из Особого Отдела я давал ей соответствующие указания. Всегда мы хотели условиться о шифре и всегда забывали это сделать. Но к

счастью потом у меня ничего не попадалось, что могло бы инкриминироваться. И то, что большевикам могло быть интересно, впоследствии мне еще при себе удалось переправить за границу.

Мое сидение в патриархальной тюрьме, именно в силу ее патриархальности могло бы закончиться трагически, если не подоспело бы освобождение.

Я просидел 10 дней, и меня выпустили под поручительство Степанова (Скворцова) и Керженцова, взяв обязательство о невыезде. Как это ни странно, в моем освобождении большую роль сыграл Г. Алексинский, сам только что выпущенный после долгого, мучительного сидения, голодовки, болезни и пр...

IV. — ГО Д В ТЮ Р Ь М Е

Я пишу свои воспоминания о тюремном быте и о том, что связано было с тюрьмой. Мое участие в борьбе с большевиками когда-нибудь будет описано в ином месте и в другой конъюнктуре. Моя деятельность была тесно связана с Н. Н. Щепкиным, хотя лично я никогда никакого непосредственного отношения к каким-либо военным организациям не имел. С лета 1919 г. мы все ходили под угрозой. Провал петербургской организации*) ставил нас под удар. Мы продолжали свое дело. Жили легально и, может быть, даже слишком бесечно и открыто, как показывает дело Н. Н. Щепкина. На его квартире, бывшей штаб-квартирой “контр-революции”, несмотря на все предпринятые предосторожности, попалась масса людей. (Щепкин был убежден, что погибнет.)

27 августа 1919 г. арестован был Н. Н. Щепкин. Я собирался поехать на другой день отдохнуть в деревню к знакомым. Но пришел один из друзей предупредить, что Щепкин арестован. Я хотел остаться, ибо уверен был, что в ближайшую ночь меня арестуют. Не являлась даже мысль о переходе на нелегальное положение, бегство. Но жена уговорила все же не откладывать нашей поездки. Мы не ошиблись: на другой день мы получили известие, что ночью из В.Ч.К. и М.Ч.К., очевидно, не сговорившись, приехали меня арестовать, и на квартире оставлена засада. Нетрудно было догадаться, где мы. Не желая доставлять беспокойство хозяевам... мы тотчас же снялись с места и отправились пешком в ближайший монастырь, где были знакомые. Через час, другой после нашего отхода прикатил действительно автомобиль с чекистами. Напали на наш след... но дальше следы наши затерялись.

Через несколько дней приехали в Москву**).

Узнали, что в наше отсутствие был обыск в “Задруге”. Арестовали более 60 человек — искали, конечно, только меня — их выпустили. Разгром петербургского отделения “Задруги”. Обвинение в

*) Арест Штейнингера, председателя этой организации, и ряда других членов ее в засаде на его квартире (П. Е. М.).

**) Мы сошли на последней перед Москвой остановке, так как нас предупредили, что на вокзале в Москве нас поджидают чекисты. Через Петровско-Разумовское мы вошли в Москву, минуя московский вокзал (П. Е. М.).

сношениях с Антантой. На квартире сидела засада. Если бы сняли засаду, мы вернулись бы к себе. Но идти и добровольно отдаваться в Ч.К. как-то психологически было невозможно.

Решили меня отправить подальше в деревню*), где я бы прожил до времени. Здесь навещали меня некоторые друзья, жена. Это было тревожное время. Подходил Деникин. Мое пребывание могло казаться подозрительным. Большевизм качался. Расправа с Н. Н. Щепкиным (и другими в подвалах Г.П.У.)... Устроил себе паспорт на чужое имя и, прописав его, я решил переехать в Москву. Так началось мое нелегальное бытие, продолжавшееся 1/2 года.

В те дни жить в Москве на нелегальном положении было трудно. Шли массовые повальные обыски, оцепляли целые кварталы по очереди и производили поголовный обыск. Оцепляли районы и проверяли документы. Ловили дезертиров. Ходили проверять по квартирам. Накладывали функции слежки на домовые комитеты, которые арестовывались за малейшие провинности. Одним словом, сыск опутал все. Первые месяцы приходилось тщательно скрываться. Мы сняли с женой 2 комнаты у знакомых наших друзей. Старшие (хозяйка квартиры и ее золовка) знали, почему, и кто мы. И это был подвиг с их стороны в те дни. Для упрочения решили вновь жениться. Я был бухгалтер, числился на заводе и в другом учреждении, жена курсистка (тоже с чужим паспортом). Страшно было прописывать паспорта. Но сошло благополучно. Я совершенно изменил свою физиономию — вид англичанина. Выходил по вечерам. Днем работал. Книги по александровскому времени у бухгалтера, — как-то все проходило благополучно. Наступила ранняя зима. Принудительные работы. Большое знакомство — большая опасность. С зимой стало тяжело. Маленькая комната. (В большой в углах лежал снег). Мороз. Дым от печурки с трубой, выведенной в форточку.

Поддерживал общественные отношения — хотя делать было ничего нельзя. Бессмысленность нелегального положения. Бессмысленность бегства...

Поражение Деникина.

Поддерживали сношения с квартирой. Жена каждый день ходила к своим. Я — по воскресеньям. Оттуда возили дрова — у нас не было. Жгли книжные полки. Сестра сидела у нас на квартире в засаде, оттуда ходила девочка прислуга. Никто никогда ее не видел, ни разу не остановили... Написал письмо Степанову (Скворцову) — можно ли появиться?..

*) Под Серпухов, к знакомому доктору, заведовавшему земской больницей.

Снятие засады. Осмелел. Стал появляться в “Задруге”. Даже у Воровского (в Госиздате) был. Дело, говорит он, ликвидировано.

Смерть в Бутырской тюремной больнице В. В. Волк-Карачевского*).

Стал я появляться на квартиру. Мы праздновали Рождество, устроили елку, и даже были гости. Решили, что переедет жена. Ничего. Я стал через день приходить. Ничего. Прописалась жена. Ничего...

Посещение Керженцова...

Посещение Рязанова...

На этом обрываются воспоминания С. П.

Посещение Керженцова, которое С. П. уже не записал, но о котором он тогда же рассказал мне, привожу с его слов: зашел он на службу к Керженцову (Платону Лебедеву, близкому товарищу по гимназии) с просьбой узнать, можно ли вернуться к легальному бытию. Керженцов предложил сейчас же позвонить Дзержинскому. На его телефонный вопрос Дзержинский что-то очень энергично ответил, так что С. П. увидел, как густо краснеет Керженцов. Повернувшись к С. П., он сказал: “Уходи скорее, он требует, чтобы я тебя арестовал!..”

Чтобы закончить намеченное С. П. описание: “Год в тюрьме” и “Пятый арест”, мне приходится, выполняя волю его, привести отрывки из своих воспоминаний, написанных тоже в 1923 г. и прочитанных Сергеем Петровичем.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПО ВОСПОМИНАНИЯМ П. Е. МЕЛЬГУНОВОЙ

Приблизительно 10 февраля (20 г.) были арестованы Щепкин Дмитрий Митрофанович и Леонтьев Сергей Михайлович. С. П. толковал этот арест в связи с процессом Самарина. Он решил “проверить свое положение через Рязанова”. Последний назначил ему свидание 17 февраля... От него С. П. должен был пройти в “Задругу”, а потом решил идти домой, где мы с А. ждали его. Около 9 час. он пришел и

*) Василий Васильевич Волк-Карачевский, наш друг, член народно-соц. партии, был арестован в засаде у Ник. Ник. Щепкина при разгроме штаб-квартиры последнего 27 августа 1919 г. Вас. Вас. спасло от расстрела в сентябре то, что он явился к Н. Н. с тестом, чтобы по соседству испечь хлеб — у Волк-Карачевских печки не было. Он попал в тюрьму. Но сердце его не выдержало ночных допросов, на которые его возили из Бутырок чуть ли не ежедневно (П. Е. М.).

сообщил, что Рязанов считает, что он может спокойно легально жить на своей квартире, что он (Рязанов) наводил справки.

Около 10 часов раздался звонок, я открыла — ...высокая блондинка. “Дома С. П. М-в”. “Он в это время не принимает”. “Мне по спешному делу”...

“Это латышка чекистка” — сказал С. П., выпроводив ее. “Уйдем через черный ход”. — “Нет, все равно, авось так скорее все выяснится, и можно будет жить легально”, — не успел он кончить, опять звонок. За мною следом в переднюю выходил С. П., за нею — входил комиссар Ч.К., “Вот гражданин Мельгунов”, — указала она ему на С. П., “Меня нечего было опознавать, я у себя на квартире и не скрываюсь”, — заявил С. П.

Комиссар вытащил бумажник и протянул ей “косую” (так назывались ленинские тысячные билеты) . “Мало!” — “Довольно, и вы мне больше не нужны”, — ушла, недовольная. “Где у вас телефон?” — звонит: “Застал здесь, пришлите стрелков, я жду!”.

Уселись мы все кругом чайного стола, комиссар против меня, положив револьвер на стол. Водворилось глубокое молчание. Наконец раздался властный звонок, комиссар бросился открывать, через минуту на пороге в театральной позе, держа руку на рукоятке ногана, остановился следователь или особо-уполномоченный Особого Отдела В.Ч.К. Он был очень эффектен: шлем на голове с спускающейся на плечи кольчужой, весь до зубов вооруженный, за ним два солдата стукнули об пол прикладами. Немедленно он попросил С. П. перейти в кабинет. После краткого опроса там, они вернулись. Всюду толклись солдаты. Тут он предложил собрать все необходимое в тюрьму. Спросила его фамилию, — Агранов, фамилия, мне ничего еще не говорившая. Наконец, все было собрано, мы простились, не подозревая, конечно, что на целый год. Агранов взял с собой своих стрелков, оставив с нами того первого комиссара-латыша и двух солдат. Комиссар должен был произвести тщательный обыск...

Наша печурка к утру напустила такой дым в комнату, что комиссар окончательно ошалел, а предстояло обыскать еще 6 комнат. Я сказала ему, что у нас обыкновенно все просто печатавали. Он опять стал звонить по начальству, сказал, что совершенно болен и предложил печатать. Там последовала санкция.

Часа в 4 дня, наконец, печатали все комнаты, кроме спальни, ванной и кухни, проглядев большую дверь из спальни в столовую, завешенную ковром.

После каждого такого события, после ночи, суток или нескольких суток обыска, как было в последний (5-ый) раз, натянутые до край-

ности нервы всегда как-то падали, и трудно бывало сразу войти в новую колею, а это было необходимо и, как можно, скорее.

С первого же утра после ареста надо было добиваться права сделать передачу. Я прошла в этом отношении через все стадии Ч.К. первого пятилетия и, должна сказать, чем дальше, тем становилось хуже, хотя постепенно все более и более отливалось в какую-то форму, но форму нелепую, нарочито жестокую.

От первоначальных условий, когда, правда, царил полный произвол, веяло чем-то доморощенным, там всегда, понаблюдав немного, можно было найти более податливого, более мягкого человека и, претерпев крик и ругань, все же добиться своего; тогда не приходилось, как в 20-м году, путем огромных усилий доходить до высшего начальства, чтобы сделать внеочередную передачу. Ну, а летом 22-го года в комендатуре просто не отвечали — стена выросла до верху, и заглянуть за нее, не было никаких сил. То же происходило и с техникой передач и их содержанием.

Вообще не было хуже тюрьмы Особого Отдела Г.П.У., которую сумели так усовершенствовать, что, действительно, стало абсолютно невозможно узнать хоть что-нибудь о заключенных.

Недели 3 не получала я ни словечка от С. П., наконец, мы с Александрой Львовной (Толстой) позвонили Агранову с просьбой принять нас, он назначил день, и мы, собрав большую корзину передачи, отправились. Говорить с Аграновым начала Александра Львовна, умевшая легко называть их всех “товарищами”, умевшая их очаровывать и добиваться своего; я села в стороне, и с первых же слов мне стало ясно, что дело серьезное. “Вы и не знаете, в чем он замешен” — это был лейтмотив, о свидании не могло быть и речи. Вскользь Агранов спросил, почему А. Л. принимает участие в С. П. “Мы большие давнишние друзья”, ответила она спокойно. Мы и не подозревали, что участь ее в это время была уже решена; доклад-донос проф. С. А. Котляревского был в руках Агранова...

Потянулась длинная, томительная история от вторника до вторника, варьировалось только: “придите” с “позвоните”. В свидании Агранов отказывал. Это было Великим Постом.

Приблизительно в середине марта атмосфера вокруг “дела” стала сгущаться.

С. П. Симсон, адвокат, наш друг, отправившись к своему бывшему товарищу комиссару юстиции Д. Курскому, вернулся очень расстроенный: “Дело плохо, не исключена возможность военного суда, тогда грозит расстрел, возможна тоже ликвидация дела прямо Особым Отделом, это — еще хуже”.

В это время была уже арестована Александра Львовна, “дело” все усложнялось.

Наконец, 27 апреля, во вторник на Фоминой, мне дал Агранов первое и последнее свидание за все полгода сидения С. П. во внутренней тюрьме Особого Отдела Г.П.У. Этому свиданию предшествовала более чем часовая “беседа” по-просту допрос, которому меня подверг Агранов. — “Скажите, где спрятан архив Национального Центра?” “Не знаю”. “Нет, вы знаете”. “Не знаю”, и т. д. Все одно и то же. “Значит, мне придется вас арестовать — посидите, заговорите! — Во всяком случае, я знаю, что у вашего мужа было три или четыре нелегальных квартиры”. “Никогда не слыхала”. “Вы говорите неправду... Ваш муж говорит, что архив у него дома, но я не верю, я знаю, что там ничего нет”. Я молчала. “Но вы все же должны мне сказать, где архив, ведь я должен был бы вас давно арестовать, как соучастницу мужа; вы давали свою квартиру для заседаний Тактического Центра, вы исполняли их поручения”. “Нет, не исполняла”. “Я все знаю”.

После долгого молчания я спросила, могу ли я все же перед арестом повидать С. П. — “Нет, ни в каком случае, лучше скажите”. Опять замолчали...

“Подождите в канцелярии”... Минут через десять Агранов позвал меня: “Сейчас вам дадут свидание с мужем на 10 минут.”

Лицо у С. П. было нездоровое, желтое, глаза красные от бессонницы. Многое надо было сказать, что выскочило из головы — Агранов достиг этой цели; все же успела шепнуть про темную роль С. А. Котляревского, которого уже выпустили, и о котором ползли странные слухи.

Больше до суда, т. е. до августа свидания нам не дали.

В конце июня я была арестована...

Книжный способ нашей нелегальной переписки доставил С. П. одно очень большое волнение — в его одиночку неожиданно посадили своего же яко бы арестованного следователя Ч.К. — он, спросив разрешение, почему-то жадно набросился на книги, и вот С. П. целый день трепетал, что тот подсажен со специальной целью узнать способ сношений наших, и что он натолкнется на него в книгах. К счастью, к вечеру его увели.

Арестованы мы с З. были в 20 числах июня в комендатуре случайно и нелепо, когда пришли с передачей.

Должна сказать, что эту передачу С. П. получил, но только в 11 ч. вечера и так перерытую, что догадался сразу, особенно из-за 11 часов, что что-то случилось, и беспокойно ждал пятницы — следующего дня передачи.

В пятницу при обыске передач вещи, посланные мне, частью попали к С. П., конечно, по безграмотности стражи. Он по этим вещам с надписью для меня сразу понял, что я арестована.

Пока я числилась по делу комиссара Павлова, С. П., узнав это, был уверен, что меня быстро освободят, но, когда он узнал о переводе меня в ведение Агранова, он запротестовал, заявив, что я не причастна к делу Тактического Центра. Агранов же не желал меня освобождать, и С. П. объявил голодовку, требуя моего освобождения.

Сидя во внутренней тюрьме Особого Отдела я этого не знала, конечно.

Недель через 5, как-то после обеда в камеру вошел чекист: “М-ва с вещами”. Провел в контору нач. тюрьмы Попова, там был только один помощник: “Распишитесь, на свободу”. Попросила передать С. П. еду. “Не могу, его нет”. — “Где же он?”. — “Перевели”. — “Когда?” — “На днях” — старается отвечать неопределенно... “Желаю вам к нам больше не попадать, не так-то легко отсюда выйти”, любезно проводил он меня. Солдат сочувственно предложил отнести вещи. Пропустили формальности комендатуры, “на свободу” радостно возглашал солдат, будто его освобождали, сам предложил еще позвать извозчика.

Семнадцать дней голодовки. Мучительно было, как рассказал мне С. П., первые три дня, когда томил голод, потом это кончилось, наступила полная апатия и все растущая слабость. На семнадцатый день его вызвал Ягода, который в это время быстро поднимался по служебной лестнице и был на ножах с Аграновым. С. П. еле дотащился к нему. Спросив о причинах голодовки, о которых он яко бы не знал, Ягода дал слово освободить меня, прислал к С. П. врача и взял с него обещание кончить голодовку. К счастью, в этот день Александра Львовна, к этому времени уже освобожденная, имела возможность передать С. П. несколько свежих яиц. Все передачи за время голодовки возвращались приносившим, приводя дома всех в отчаяние — объяснений не давалось. Яйца были приняты, и С. П. первые дни ел по одному в день, да есть и не хотелось. Его тут же, до моего освобождения, перевели в Бутырки — пешком, далеко — верст пять, с тюком вещей и главное книг. Откуда взялись силы? — так велик был подъем, радость вырваться из внутренней тюрьмы Ос. Отд. Солдат конвойный не торопился, и С. П. много раз вынужден был садиться на краю тротуара. Его сразу поместили в “изолятор” — нечто в роде “санатория” тюремного для поправляющихся и слабых. Там он попал к другу нашему и своему сопроцесснику, меньшевику, д-ру В. Н. Розанову*), который

*) Владимир Николаевич Розанов, арестованный в Петербурге в августе 1919 г. в засаде у Штейнингера, перевезенный с другими в Москву, проведший несколько дней в камере смертников в Ос. Отд. Г.П.У. при бессуд-

принялся его энергично выхаживать (t° у С. П. при прибытии в “изолятор” спустилась почти до 34°, а ноги отекали, как бревна) — необходимо было восстановить очень быстро здоровье для предстоящего в середине августа “суда”.

Перед “судом”

Предполагалось, что “суд” будет в начале августа, надо было все организовать, и мы с А. М. Щепкиной принялись за дело. Потянулись переговоры с тюрьмой (вся “головка” процесса была в Бутырской тюрьме) — сношения наладились. Сговаривались о защитниках. С. П. никого не хотел. Мало было шансов, что их вообще допустят к защите. Адвокаты все же хотели познакомиться со следственным материалом. Пошли переговоры с Крыленко*), который ни за что не согласился допустить к защите Симсона, да и на Тагера и Полянского не шел. Разговоров о Тагере и Муравьеве было без конца — с большим трудом они были допущены, тоже и П. Лидов. Тагер договорился с Крыленко, что он разрешит нам снять копии со следственного материала. Мы с Щ-ой пошли к Крыленко в его роскошный особняк. “Кто будет работать?” “Сколько?” “Кто за них отвечает?” и т. д., сыпал он быстрыми вопросами. “Можете после закрытия канцелярии хоть все вечера, пока согласится дежурный. Значит, за вашей ответственностью 12 человек”? “Да”. — “Хорошо”.

В этот период подсудимые были в ведении Крыленко, а не Г.П.У. Мы пошли просить у него свиданий до суда. Он сказал, чтобы мы подождали день, что через день их приведут из Бутырок в его канцелярию знакомиться с материалами, и тогда он даст свидания, сколько угодно.

Служители быстро освоились с нами — помогли хорошие папиросы — и на работах вечерних в канцелярии мы не чувствовали их гнета, сидели иногда до 11 ч. вечера, усидчиво писали; написанное тотчас же передавалось машинисткам (нашим друзьям). Самыми большими оказались показания С. А. Котляревского. С ними было очень трудно — увесистый том постоянно требовали наверх, где знакомились с материалами обвиняемые, или же его брал кто-либо из адвокатов. Так всего и не успели переписать, как ни гнали.

ных сентябрьских расстрелах (гибель Н. Н. Щепкина, Штейнингера и др.), избежавший смерти благодаря ходатайству своего друга Каутского, затем привлеченный к делу Тактического Центра и заключенный в Бутырки, где он и работал, как врач, в тюремной больнице.

*) Н. В. Крыленко — главный прокурор при трибунале в те годы.

Нам с С. П. дали свидание уже после того, как он ознакомился с некоторыми показаниями, и был сильно потрясен показаниями Н. — отгораживание человека, который стоял близко, явное желание себя обелить произвело подавляющее впечатление — “Ведь этим они нас топят” — да, это было топление “головки”, которая, в действительности, не была так конспиративно отмежевана, как выходило из всех показаний. Ясно было, что люди спасаются хотя бы ценою гибели своих же. Но другие показания мало задевали С. П., больно было только от тех, близких, от кого этого никак не ожидал.

Дней 5 или 6 приводили их из тюрьмы, мы их встречали, передавали им еду, потом нам давали длинные свидания, а в 4 ч. мы садились за работу. Потом дома все подбиралось, сортировалось, доставлялось адвокатам и т. д. В субботу 13-го — последний день — их привели со всеми вещами, так как прямо из канцелярии отправляли на кремлевскую гауптвахту с тем, чтобы оттуда уже вести на “суд”.

“Суд” (Дело Тактического Центра)

Несколько раз день “суда” назначался и откладывался. Несколько раз менялось помещение. Наконец, день и место были фиксированы — понедельник 15-го августа (1920 г.) в большой аудитории Политехнического Музея в 12 ч. дня. В этот первый день под усиленным конвоем привели из всех 27 обвиняемых только 8*). Восемь неотпущенных: Щепкин Д., Леонтьев С., Трубецкой С., С. П., Розанов В., Муравьев Валерьян, Морозов и Пучков. Публику пускали по билетам, каждой из нас дали на руки по 6-12 билетов, при чем мы должны были предварительно записать всех, кому их раздадим с адресами, степенью родства и т. д. На наше счастье комендатом “суда” был назначен один из служащих канцелярии Крыленко, который, как будто, нам сочувствовал, содействовал устройству в перерывы свиданий, не придирался.

Есть стенограмма, но она бледна и часто неверна. Отдельные штрихи в память врезались очень ярко.

Все воспринималось остро. Сама уже зала с красным сукном, с толпящимися везде чекистами, солдатами ВОХры в пижаках, производила тяжелое впечатление.

Зала была полна. Ровно в 12 ч. ввели подсудимых, тех восемь разместили на первой и второй скамьях в середине, по краям сели солдаты с ружьями, а пришедшие с воли подсудимые сели отчасти сзади, отчасти на боковых правых скамьях.

*) Остальные были на свободе. В первый же день, когда привели из Бутырок в канцелярию Крыленки 20 человек, он отпустил большинство за исключением восьми.

Появился комендант со словами: “Встать; трибунал идет”. На сцену из боковой двери вышли 3 судьи и 2 заместителя: председатель Ксенофонов, бывший председатель М.Ч.К., толстый, свинообразный с свирепым лицом, Жуков (крыленковский помощник) и Галкин, бывший рабочий, теперь чекист, заместителями были два чекиста.

Переключка подсудимых и затем чтение секретарем обвинительного акта. Чтение — какое-то бормотание, длилось больше двух часов. По окончании председатель объявил перерыв до следующего дня.

Пеструю картину являл стол защиты: кроме приглашенных нами и допущенных после долгих препирательств Тагера (защитника четверки, т. е. Тактического Центра), Муравьева Н. К. (тоже) и Лидова П. П., сидел ряд так наз. правозаступников, т. е. адвокатов, допущенных уже к постоянным выступлениям в трибунале; здесь их было четверо, и все, как на подбор: защитник Котляревского — Рязанский (его ученик), Машбиц — комическая фигура, нанятая Морозовым для его специальной защиты, Брусиловский подслеповатый, самонадеянный и последний (фамилию забыла), постоянно бывший пьяным.

Одна из боковых аудиторий была отдана под обвиняемых, тех, что были под арестом. Туда в перерыв нас пускали повидаться. Там мы сидели каждая со своим. Иногда перерыв затягивался, и мы около часа проводили вместе. Говорить никто не мешал, никто не следил за нами. С. П. несколько оправился от своей голодовки; ему пришлось бороться с сопроцессниками, чтобы направить их по той линии, которая ему казалась наилучшей; для этого Трубецкого и Леонтьева, давших убийственные для себя показания на следствии, приходилось убеждать говорить на “суде” не то и не так — расчет оказался правильным — Крыленко не знал хорошо показаний на следствии и не мог подловить, и Л. с Т. удалось многое изменить, в чем они себя оговорили.

Сперва М., а потом И. М. Ч., наши верные друзья, оба врачи, достали мне цианистый кали — быть расстреленным С. П. не хотел. Но одна стеклянная трубка, переданная мною ему на свидании, у него исчезла. Он поздно это заметил, и надо было в последний день передать ему флакончик*).

Со второго дня суда начался допрос обвиняемых. Крыленко являл, но быстро стало ясно, что он то следственного материала не знает. Тяжелые, одни из самых тяжелых впечатлений от “суда” были речи ряда подсудимых, живших давно уже на свободе. Проф. Кольцов, проповедник евгеники, человек, принимавший более близкое участие в работе, чем все главные подсудимые, ближайший друг Н. Н. Щеп-

*) В последний день свиданий не дали.

кина, казначей организации, имевший счастье не быть известным Виноградскому, всех выдавшему. Этот человек, изображая на суде полную невинность, старательно отмежевывался от “шестерки”*) — ведь отмежеваться от них, значило спасти себя, это значило, конечно, тоже потопить их, подтвердив конспиративность и замкнутость этого таинственного центра, на что особенно упирало следствие, сумевшее отграничить тех подсудимых, все показания которых пестрели заявлениями: “Мы ничего не знали”, “Нам ничего не говорили” и т. д. “Мы собирались только, чтобы побыть вместе, нас угощали чаем со сметаной”, (мы их и прозвали, этих людишек, “сметанниками”). Вот проф. Устинов, распинающийся за советскую власть, он ей служит, понял, признал, он будет ей верен всегда. Вот великолепное животное проф. Сергиевский, “красавец мужчина”, который не постыдился подтвердить свои предварительные показания относительно страхования на два фронта — он и в Совет Общественных Деятелей вступил, только чтобы оградить себя от “Деникинских шомполов”, и на презрительный вопрос Крыленко: “Двойное страхование?”, как бы плюнул себе в лицо, четко отчеканив “да”. Я уже не говорю о Виноградском — он стал провокатором с первого дня заключения, он был уверен, что на суд его не вызовут, так обещал ему Агранов, редко державший слово.

Котляревский — самая фигура которого подобострастно извивалась и как-то припадала перед судьями — говорил заискивающим голосом. Старательно отмежевываясь от центра, он все время трепетал, так как был в этом центре и сам составлял для него проекты — будь кто-либо из них подобен ему и скажи о нем хоть слово, не легко ему было бы выпутаться. А между тем они, знакомясь в канцелярии Крыленко со следственным материалом, убедились, что Котляревский сыграл предательскую роль: он взялся составить для следствия по показаниям подсудимых и своим воспоминаниям общую сводку деятельности всех трех организаций **). Его показания — тяжелый толстый том. Он всех топил самым усердным образом, позабыв только упомянуть о своей деятельности. Перед его допросом на “суде” С. П. просил кого-то из защитников передать ему, что, если он и тут будет подчеркивать замкнутость и таинственность заседаний “Тактического Центра”, то он, С. П., выведет его на свежую воду. Он все же ничего не сказал, вильнул.

Высокие слова, а в сущности только самоотторгаживающиеся гово-

*) В “шестерку”, кроме четверых здесь судимых, входили по данным следствия О. П. Герасимов, умерший во внутр. тюрьме Ос. Отд. и Н. Н. Щепкин там же расстреленный в сентябре 1919 г.

**) Совет Общественных Деятелей, Национальный Центр и Союз Возрождения.

рил Фельдштейн, этот расслабленный эстет. Очень смело держалась Александра Львовна, погубившая себя последним словом, в котором заявила, что, будучи последовательницей отца, суда не признает и считает его насилием, особенно большевицкий “суд”.

Как держались социалисты — члены Союза Возрождения? — Филатьев с большим достоинством, но и осторожно; Цедербаум-Левицкий прямо заявил, что никакого замкнутого центра не было, что каждый из членов организации мог бывать на заседаниях, т. ч. ответственность несут все равную, каждый мог бы быть на месте главных обвиняемых, — его речь была в высшей степени благородна. Кондратьев — бывший эс-эр, член Союза Возрождения, входивший в Центр заместителем С. П., проявил большую трусость — от всего отгородился, нигде не бывал, ни в чем не участвовал. Перед “судом” он через меня послал содержащимся в тюрьме тезисы своих показаний, на них же он строил свою защиту, и сразу в тюрьме увидели, что он отгораживается; он утаил, конечно, что замещал С. П. как раз на том особенно инкриминируемом “головке” собрании, где решался вопрос о военном выступлении, *за которое Кондратьев стоял*. “Спасайся, кто может”, было его девизом, и он спасался, двинув даже в виде арьергарда на “суде” свое крестьянское происхождение.

Я говорю только об отдельных фигурах, многие были очень бесцветны. Накануне последнего дня заседание было прервано на несколько часов: ждали Л. Троцкого, известившего трибунал, что он желает выступить свидетелем. Он явился замолвить слово за Валериана Муравьева, поступившего на службу в комиссариат иностр. дел. Закончил он свое похвальное заявление широким, театральным жестом в сторону “головки” — “А эти нам теперь уже не страшны; завтра мы берем Варшаву”^{*)}). Во всех его жестах и движениях было что-то балетное, все выступление было театрально.

Мне рассказывали потом, что в Особом Отделе, куда их всех привели, в общей камере все, как от чумы, отворачивались от Виноградского: он лег на нары и пролежал все время, делая вид, что спит, и только один Устинов заботливо предложил ему чая.

Последний пятый день был самым тяжелым — это был день “последнего слова”, при чем “суд” заявил, что все должны сказать о своем отношении к советской власти и к польской войне (как раз в

^{*)} Красная армия 19/VIII (20 г.) подошла к Висле и на следующий день должна была войти в Варшаву. 20-ое — день “Чуда на Висле”, когда совершенно темное облако низко спустилось на реку, на все переправы, и потерявшаяся красная армия, не находя их, в панике бежала от Варшавы, жители которой считали, что Божья Матерь спасла их, опустив на реку покров свой в виде черного облака! “Чудо на Висле”, спасшее Варшаву, фигурирует в истории польско-советской войны 1920 г.

это время красная армия “победоносно”, как заявил Троцкий, подходила к Варшаве). Показания С. П. во время следственной части “суда” кое-кого (напр. Кускову) не удовлетворили, ему трудно было говорить, а кроме того все (защитники Н. К. Муравьев, Тагер, я под влиянием Симсона) оказывали на него давление, чтобы он не говорил того, что хотел, чтобы не ухудшить своего положения. Да и во время речи председатель обрывал его, мешал репликами, так что ему пришлось оборвать совсем конец. Зато в “последнем слове”...

Последнее слово стали давать с конца, т. е. с самых незначительных, и так тянулось весь день.

Я не упомянула еще о том инциденте, который разыгрался с Трубецким: во время его допроса Крыленко вынул торжествующе новую папку, которой не было в деле, и которой не давали для ознакомления: “А это что? какие делегаты и кем и зачем они повсюду рассылались?” Он хотел опарашить, припрятал папку, никто о ней не знал. Помню недоуменный вопрос Трубецкого “можно ли посмотреть?”, жест Крыленко, протягивающего “убийственные” документы, помню, как вопросительно повернулся Трубецкой к С. П., который кивнул утвердительно — “Эти материалы у меня от Мельгунова для работы”. С. П. встал: “Я разъясню, это касается меня”. Лицо Крыленко — знак вопроса — “Это кооперативные делегаты, обследовавшие положение кооперации на местах”, — весь эффект, подготовленный Крыленко, пропал даром.

Накануне день закончился обвинительной речью Крыленко — он мало был знаком с делом, поэтому все его выкрики сводились к “врагам советской власти”, “контр-революции” и т. д., все по общему шаблону. Но закончил он свою речь, требуя для головки из четырех, “подготовивших вооруженное восстание” — Леонтьева, Трубецкого, Д. Щепкина и Мельгунова — расстрела. Со стуком кулаком по столу, с бешено вытаращенными глазами, задыхаясь, свистя и шипя, как-то особенно выкрикнул он это слово.

На этом кончилось заседание.

“Последнее слово”. — У Леонтьева от волнения сорвался голос, сорвался от рыданий. Потом Д. Щепкин — он говорил спокойно, не ярко, но до конца выдержал. Трубецкой — кратко, с большим достоинством и мужественно. Теперь С. П. — последний. И вдруг председатель поднимается: “Объявляю перерыв”. Все остолбенели. Зала была полна, нагнали солдат, чекистов. Никто не двинулся с места.

Через 5 минут заседание возобновилось. С. П. был совершенно бледен. Он решил сказать все: “Ведь это, может быть, в последний раз, я не могу не сказать”. С первых же слов его я почувствовала, что он вполне владеет собой. Величайшее напряжение воли в словах, звуке голоса. Ясно, громко и отчетливо бросал он в лицо “судьям” все,

что думает об этой власти, предсказывал им термидор, говорил все открыто, без сомнений и страхов. Говорил, что желает победы Польше и всем, кто бы ни сверг советскую власть. Говорил, чтобы высказаться, чтобы не уйти из жизни, не бросив в лицо большевикам всю свою ненависть и веру в их гибель и возрождение России... Я не могу всего передать. Стенограмма бледна, нет тона, нет смелого вызова, нет всего уверенного вида. Зала замерла, и громкий голос раздавался четко и ясно.

Мне видны были лица судей, впившихся в него глазами, лицо Крыленко, с которого сбегала обычная саркастическая усмешка-гримаса. Всё насторожилось. И, когда он кончил — миг еще продолжалось напряженное молчание, потом какой-то гул одобрения прошел по зале. “Суд” поднялся и удалился.

“Разве можно таких казнить”, говорили красноармейцы в задних рядах; кое-кто плакал. Ко мне бросились знакомые и незнакомые выразить свое восхищение. “Он всех спас”, предсказывали некоторые... Подсудимых увели.

Началось томительное ожидание. Мне надо было передать цианистый кали. Подсудимых строго изолировали. Н. К. Муравьев, защитник, после долгих убеждений, наконец, обещал мне передать в последнюю минуту. Надо было предупредить С. П. Их через залу проводили в уборную. Вели Вал. Муравьева “пусть пойдет С.” удалось шепнуть ему. Когда шел С. П., я протянула руку, он свою, но ведущий его чекист увидал и отнял записку. Через несколько минут меня таинственно позвал комендант: “Вы передали записку, она у меня, чекист грозит доложить, если я не передам ее Крыленко”. “Передайте”. — “Уж вы на меня не сердитесь, иначе не могу”. — “Бог с вами”. Меня вызвали с эстрады к тому же Крыленко. “Это вы передали записку?” “Я”. “Почему вы знаете приговор?” “Говорят”. “Кто это С. П., который все знает?” — Я молчала. “Я впрочем и сам знаю, что это Симсон”. “А какой это флакончик вы хотели передать? валерьянку?” “Да, да”. “Где же он у вас?” “Дома”. “А не тут?”. “Нет, нет” (он был тут у кузины Юли в руках). “А ваш муж читал записку?”. “Нет, не успел”, хотя С. П. успел посмотреть, когда чекист отнимал. Крыленко успокоился и отпустил меня, угрожая, что в случае чего он передаст записку суду, и это повлияет на решение.

Среди публики ползли плохие слухи... Отъезд Симсона. Он дал, конечно, все указания: куда, как и кому подавать бумаги в случае смертного приговора. Я не слушала — С. П. требовал, чтобы я ничего не подавала. Все были уверены, что приговор составлен заранее, но почему же так долго совещается трибунал? И когда этому конец?

В 12-м часу ночи началось волнение, все потянулись в залу —

она была переполнена охраной. Двери заперли, и у каждой поставили солдат. Ввели подсудимых. “Встать”, голос коменданта — зала поднялась. Ксенофонтов начал читать опять с последних (Урусов, единственный, освобождался совсем). Чтение с запинаниями шло вперед, наконец, чуть не 20 человек — к расстрелу, потом градации замен, и опять четверых — последних — замена 10-ью годами тюремного заключения. Вздох облегчения прошел по зале, и вдруг все смешалось в общем гуле. Залу заперли, никого не выпускали, боясь демонстрации. Увели их...

Потом уже мы узнали о финале, разыгравшемся в комнате подсудимых после приговора, пока еще тех, кто так подло купил себе свободу, не успели отделить. На шею Трубецкому бросился Котляревский, а сзади повис на нем Фельдштейн, и оба, плача, умоляли “простите”. Потом Котляревский бросился к С. П. и тоже полез целоваться, прося “простить”!

После приговора

Их не долго продержали после приговора в Ос. Отд., на следующий же день перевели в Бутырки.

Бесконечная усталость. Уставать нельзя. Надо добиться свидания. Опять Крыленко, мы с А. Щепкиной перед ним. “Свидание? — это меня не касается”. — “Да нет же, без вашего разрешения не дают”. “Зачем вам?” — странный вопрос. Говорим, убеждаем. Бежит распорядиться, мы за ним, так важно маленькое слово “личное”, без него ужасное свидание через 2 решетки с шагающим между ними часовым — это “общее”. Получили, наконец, ордера.

Очень скоро эти свидания раз в неделю перестали нас удовлетворять, и мы решили с С. П. добиваться еще второго свидания — “делового”. Опять я у Крыленко: “Мне нужно деловое свидание, я должна переговорить о нашем журнале”. — “Давно пора закрыть — контр-революцию разводите”. — “Да ведь он исторический”. — “Все равно, тем хуже. Нет, не могу”. — “Но мне необходимо”. Дает, дает еженедельное деловое свидание. И наши личные свидания начинают чередоваться с деловыми. Тут все по-другому. Трудно только пробиться через первую преграду.

В тюрьме вспыхнула голодовка*). Тюрьма гудела жутко. Я подошла к ней как раз в тот момент, когда по телефону начальник тюрьмы передавал, на какие коридоры не принимать передач. МОК (мужской одиночный корпус) еще в них не числился, но пока я доби-

*) Вызвана голодовка была избиением заключенных в Бутырках эс-эров.

валась приема передачи, объявил голодовку и МОК. Начальник тюрьмы уже закусил удила и ни свиданий, ни передач не разрешил...

Выхлопотала себе свидание с С. П. Вера Николаевна Фигнер. Я сопровождала ее. Свидание дали на сборной. Вся тюремная обстановка так взволновала Веру Николаевну, нахлнули шлиссельбургские воспоминания, она расплакалась, как только мы вошли на сборную. С большим страданием за С. П., которого очень любила, говорила она с ним.

На первый день Рождества дали свидание на целый день, т. е. до темноты.

Среди зимы в тюрьме установился обычай отпускать заключенных на дом; делалось это через одного заключенного, работавшего в канцелярии, оплачивалось спиртом. Он много раз обещал С. П. устроить отпуск, получил роскошную книгу авансом, и каждое воскресенье происходила осечка — боялся Попкович, начальник тюрьмы, получавший свою долю спирта, боялся, как он говорил, отпустить столь известного в Москве человека, боялся по-просту попасться и все оттягивал.

Одно время С. П. был очень болен — кашель сильнейший, жар, но тем не менее он поднимался с койки и выходил на свидание. Вид был плохой, он кутался в свою арестантскую рыжую куцевейку на вате.

Умирал П. Кропоткин. Задружники, очень тяжело переживавшие отсутствие С. П., составили бумагу в В.Ц.К. о необходимости освободить его для научных занятий — бумагу эту подписала В. Н. Фигнер, а двое из задружников повезли ее Кропоткину, который очень интересовался судьбой С. П.*). Ему в этот день было лучше. Он их выслушал, поговорил с ними и подписал бумагу, — никто не думал, что эта подпись последнее, что он напишет. Через несколько дней его не стало.

13-ое февраля (1921-го года), воскресенье было днем торжественных похорон Кропоткина**) и, когда процессия проходила мимо Бутырской тюрьмы, ворота распахнулись перед С. П.. Он был освобожден.

Я не пошла на похороны, опасаясь, что С. П. все же придет в воскресный отпуск. Стук в дверь — С. П. Сразу даже не поняла, что совсем отпущен, но вещи как-то пояснили все, лучше слов.

Конст. Вас. Сивкова***) в этот день повез в Бутырки книги для тюрьменной библиотеки, которой С. П. заведовал. На санках Сивкова и с его помощью дотащил С. П. свой багаж домой...

*) Кропоткин жил в Дмитрове Московской губ., в большой нужде.

**) Холодал и почти что голодал Кропоткин в Дмитрове, но похороны ему большевики устроили в Москве торжественные.

***) К. В. Сивков, ныне покойный, — историк, педагог, активный член "Задруги" и долголетний сотрудник всех литературных начинаний С. П.

У. — П Я Т Ы Й А Р Е С Т

31-го мая 1922 года мы возвращались с Виндавского вокзала, где проводили моих родителей за границу, с нами ехала Ев. Ив. Репьева, — она проводила Прокоповичей.

“Вряд ли вы очень спокойны за С. П.?”, спросила она меня. “Нет, у меня такое чувство, что его арестуют”. Он же, получив повестку, вызывавшую его 6-го июня на “суд” эс-эров свидетелем, был уверен, что он вне опасности. В этот день забежала к нам А. М. Щепкина предупредить, что ее муж Дмитр. Митр. и Леонтьев арестованы. Я считала, что очередь за С. П.

В субботу вечером к нам зашел Иван Давыдович Р., и мы вчетвером с жившим у нас В. Н. Розановым сидели за чайным столом и говорили о предстоящем эс-эр. процессе. Часов в 10 позвонили — сразу узнался “их” звонок. Ввалилась компания, с ними женщина*)... Протесты и указания на повестку не помогли. — “Мы вас и от себя в “суд” доставим”.

Комиссар пошел с С. П. и Розановым в кабинет, а нас с Ив. Д. посадил в столовой, против нас солдата и приказал ему не спускать с нас глаз, не давать нам вставать и разговаривать.

Долго мы так просидели.

Бесграмотный протокол с трафаретной анкетой; опросили всех, протокол подписали, и комиссар велел собирать вещи для С. П. в тюрьму. Уходя, они оставили засаду из 3-х солдат, которые должны были бодрствовать все время и следить за нами. 3 солдата в передней. Конечно, они не выдержали всю ночь и заснули.

— Ложитесь, — сказал мне Влад. Ник., — они к вам не войдут, это не полагается, и они могут ответить. Да и мы оба устроимся тут, рядом, в столовой.

Легла, не раздеваясь. Мучила мысль, сколько они пробудут, как снести с волей и все организовать за спиной недреманного ока. Храп стражи в передней вселял надежду, — не так уж мы отрезаны. Надо было предотвратить приход эс-эрки, которой С. П. назначил прийти завтра в 2 ч. за материалами для процесса. Для предупрежде-

*) Она должна была меня обыскать с головы до ног.

ния своих все меры были приняты — свои знали все сигналы. Но как предупредить эту даму?

Утром солдаты как-то помягчали, — верно от чая, которым мы их напоили, и уже не так неотступно следили за нами. Розанов занял позицию у окна в столовой... мы все же нелепо упустили единственную возможность предупредить эс-эрку. Была Троица, и рассчитывать утром в день отдыха на своих было невозможно. Все утро простояла я у окна. Солдаты сильно смягчились: один ставил самовар, другой сбегал за хлебом: "Еще рано, до начальства оберну", третий сидел в передней. Первым пришел телеграфист — его сразу заарестовали.

За ним кто-то с повесткой, еще кто-то. Сидели в передней и громко роптали.

Все, что можно было сделать, чтобы предупредить приход этой эс-эрки Богораз, мы сделали. Она позвонила ровно в 2 часа нетвердой рукой, настойчиво позвонила вторично; на лестнице я услышала тяжелые мужские шаги, она вошла и отшатнулась, спеша назад, но сзади нее выросла большая фигура в кожаной куртке, шагнувшая в переднюю и загородившая ей выход.

— Я комиссар, — заявил кожаная куртка солдатам.

— Пароль.

— Какой чорт пароль! Пришел обыск делать!

— Мы без пароля не можем.

— Да разве вы меня, черти, не знаете?

— Мало вас комиссаров; посидите, наш придет — разберет.

Он уселся в передней, и все бурлил и будировал вместе с другими арестованными, но гораздо сильнее их.

Богораз была подавлена, она явилась с большим пакетом материалов для процесса. Как даме, ей разрешили войти в столовую — тут она нервно бегала взад и вперед. Потом подседа к столу и тихо заговорила со мной — дверь в переднюю была настеж открыта. Кожаная куртка придвинулся к двери. Она просила известить ее близких, была в отчаянии из-за материалов, незаметно передала мне кольцо с фотографией. Я чувствовала, как жадно нас слушает кожаная куртка.

Так шло до 4-5 часов, когда вчерашний комиссар с несколькими людьми опять явился. Кожаная куртка оказался следователем Особого Отдела — очевидно зная, что Богораз должна к нам притти и не желая упустить добычу, он подстерегал ее и шел сзади, чтобы предупредить бегство, он высидел 3 ч. арестованным, чтобы выследить и узнать. Теперь же с портфелем под мышкой он уселся за письменный стол и принялся допрашивать задержанных. Быстро отпустив всех, кроме Богораз, — он старался тщетно добиться у нее и меня, о чем мы говорили, о чем она просила меня. Ей он объявил, что арестует ее.

Я предложила ей хлеба и полотенце (мыло и расческа у нее были). Она взяла полотенце. Ее увезли, а мы остались с теми же солдатами. Еды им принесли по селедке и немного хлеба. Они начинали озлобляться: их и за людей не считают. Нам это было только выгодно. Мне удалось снестись с тетей и З. З. должна была явиться в 3 часа ночи, когда я, рассчитывая на крепость сна солдат, решила бросить ей в окно пакет для С. П., чтобы он не думал, что мы отрезаны. В эту ночь я спустила пакет на длинной веревке. Днем дом был под усиленным наблюдением, даже извозчик-сыщик стоял на стрелке улиц против наших окон.

На Духов день у нас был грандиозный обыск под руководством кожаной куртки.

Обыск длился часов 6-7. Студенты-свердловцы отобрали такую кучу вырезок из старых газет, что следователь изругал их во всю: искать надо было не вырезки, а то, *что между ними запрятано*. Все перевернули вверх дном. Во время их пребывания позвонил Ив. М. Чупров, я вышла в переднюю, увидела его недоумевающее лицо, букет цветов в руках и услышала окрик солдата: — куда лезешь, проваливай.

Удивительно быстро и легко большинство солдат переходило на нашу сторону. Их озлобляло скверное питание, полное забвение. Вот и в данном случае, солдат выставил Ив. М., а на вопрос следователя из кабинета: “Кто там?” — не сморгнув глазом, ответил: “Нищий шляется тут”...

После первого дня солдаты вообще перестали задерживать, они старались не впускать. Но, когда Наташа Фидлер, не взирая на них, пролетела прямо в столовую, солдат пошел за ней; перебивая ее, я старалась внушить ему, что она пришла вовсе не к нам, и не наша она знакомая, а моих родных. При этом мы говорили с ней на *ты*, и я убеждала ее уйти, а солдата — выпустить ее.

Он переспросил: “Она, значит, не ваша знакомая?” — “Нет” — мы расцеловались, и она ушла.

Не помню точно, но, как будто, еще утром приезжал следователь Решетов, утверждавший, что он сам бывший народник, знаком с писаниями Пешехонова — хотелось бы очень с ним познакомиться. “Вы кстати не знаете, где он?” — вскользь ввернул он. Пешехонов в это время жил под Москвой и, кажется, скрывался. Явившись к нам, Решетов прежде всего пригласил меня с ним “побеседовать”.

— Вы знаете арестованную у вас гражданку?

— Нет, совсем не знаю.

— А знаете Богораз или — он назвал фамилию в ее фальшивом паспорте.

— Нет, не слыхала даже.

— Это ее фамилия. Зачем же она к вам пришла?
— Наверно, в редакцию.
— Так-с, а о чем же вы с ней говорили?
— Предлагала чая, хлеба.
— Хм!.. Мы все знаем. Вы дали ей полотенце?
— Дала.
— Признаетесь? Разве незнакомым дают? Вам не было жаль?
— Было, но ее мне было больше жаль: я сама посидела в вашем собачнике и знаю, какая там грязь.

— Странно, странно! Значит, из человеколюбия дали? Так и в протокол записать?

— Пишите, как хотите, но я ее не знаю.

Позвал Ив. Дав-ча. И его спрашивал о Богораз и тоже не верил, что он ее не знает.

На следующий день он явился, вызвал Ив. Д. и, наконец, объявил, что поедет с ним на его квартиру для обыска. Мы остались вдвоем с Розановым.

На следующий день опять явилась компания: искали определенных фотографий. Они выбрали редкие экземпляры: Дзержинский в окружении всех чекистов, Дзержинский с Ксенофоновым, еще Дз. с кем-то. Они изумлялись, пожимали плечами, бормотали, что это не просто “там разберут”, странно поглядывали на меня.

Оказалось потом, как мне говорила сестра большевика Ярославского Татьяна*), что часть чекистов решила на этих фотографиях *построить дело* о подготовке покушения на Дзержинского. Ее вызвали в Г.П.У., показывали фотографии и доказывали, что дело здесь очень нечисто.

За С. П. она усиленно хлопотала и была очень обеспокоена этим намерением Г.П.У. подстроить проект покушения на Дзержинского. Конечно, вся ее симпатия обуславливалась долголетней работой (в качестве фельдшерицы) с моим отцом доктором, которого она очень чтила.

Менжинский, думаю, понял сразу, что она не очень умна и очень темпераментна, и стал ее запугивать тем, что С. П. очень крупный враг и т. д. Ей было трудно, но отступать она не хотела. Впрочем, конечно, ничего и не добились — там с самого начала было решено, что весь эс-эровский процесс С. П. просидит, и ничто не могло изменить это решение.

Следователь еще приезжал к нам за какими-то справками, вообще

*) Тоже большевичка.

нас дергали и не забывали. И так же внезапно, как делалось все, на пятые сутки к вечеру была снята засада.

Очень скоро стало совершенно ясно, что арест связан с процессом. Допросов не было.

Передачи к этому времени принимались еще строже, чем раньше. Запрещено было передавать в мешках, корзинках, даже салфетках. Я носила в веревочной сетке, указав им, что таковая не значится в списке запрещенных.

Несколько слов о комендатуре — она перебралась в огромное помещение прямо с Лубянской площади. Надо всем царило “справок не дают”. Никогда в прежней комендатуре я не чувствовала такой непроницаемой стены между алчущими и вершителями судеб. Казалось сначала, что все больше оформилось, но не тут то было: произвол царит полнейший.

Свидание я получила последняя. Это было приблизительно через месяц после ареста.

Я хотела непременно попасть в Благородное Собрание (Дом Советов), где шло судбище над эс-эрами, попасть в тот день, когда будет допрос С. П. в качестве свидетеля. Я побывала на двух или трех заседаниях благодаря Красному Кресту (политическому), который получил два билета всего-на-всего. Я ходила поджидать на улице привода С. П. в трибунал. Был арестован и Филатьев, тоже получивший повестку. Розанову повестку вручить не смогли за “ненахождением”, хотя следователи, посещавшие нас в засаде, усердно называли его “товарищ доктор Розанов”, но ассоциировать с Розановым не были в силах. В повестке С. П. была дата вызова, но, конечно, с первого же дня все даты нарушились. С. П. приводили в “суд” вместе с полковником Перхуровым, участником Савинковского Ярославского восстания*). Я увидела их, когда их выводили из Благородного Собрания после целого дня пребывания там. В этот день я сидела на хорах в зале; накануне упомянули, закрывая заседание, свидетелей на завтра — Филатьева, Кондратьева **) и С. П., но его не вызвали — может быть,

*) Перхуров на суде из свидетелей попал в обвиняемые, т. е. после его показаний над ним был новый суд, и его приговорили к расстрелу. То, что С. П. удалось от него узнать, рисует трагически судьбу его. Участник Ярославского восстания, он был арестован где-то в Сибири и сидел три года, сидел в одиночке, абсолютно без передач и без книг. Вид его был ужасен, издергался и извелся он до крайности за три года ежедневного и еженощного ожидания расстрела. С. П. говорил с ним урывками под окрики и всякие запреты стражи.

**) Я слышала речь свидетеля Н. Д. Кондратьева; он к этому времени еще больше опустился по той наклонной плоскости, по которой покатился с момента ареста по делу Такт. Ц. Он, бывший эс-эр, говорил о своей преданности советской власти и о том, что ничего общего с этими людьми не имеет.

Крыленке сообщили, что он собирается говорить весьма откровенно, не знаю, но через него перескочили — это было при мне — и перешли к другой группе свидетелей. Публика бывала арестована, двери на за-юре, и до конца заседания не выпускали. Но и их, Перхурова и С. П., увели только по окончании, поэтому мне и удалось их увидеть, но мельком.

К концу процесса, тянувшегося больше 2-х месяцев, настроение, искусственно подогревавшееся в тех “массах”, которые должны были изображать народный гнев против эс-эров, заметно упало, на процесс почти не ходили, зала пустовала. Тогда решено было организовать демонстрацию грандиозную и потрясающую. “Народ” должен был вломиться в залу “суда” и требовать крови.

Обвиняемые выдержали до конца. Предрешенность приговора была очевидна.

Это сидение было для С. П. одним из самых тяжелых, потому что сидел он в общей камере внутренней тюрьмы Ос. Отд., люди были самые разные, человек 6-7. Между прочим, один раз ко мне в книжную лавку “Задруги” прибежала какая-то женщина и говорит, что ее муж сидит с С. П., что у нее бывают постоянно свидания, и чтобы я написала письмо, она передаст. Я верю, что она от всей души мне предлагала, хотя тогда у меня было сомнение тем более, что муж ее был командиром красной армии; я, конечно, никакого письма ей не дала, просила что-то незначительное передать на словах. Она стала часто заходить. Уже два месяца сидел ее муж без предъявления обвинения. Два месяца было назначено сроком: если не предъявлялось обвинение, должны были выпустить. Так с ним и сделали, его выпустили, и уже через день она, как безумная, прибежала сказать, что его снова взяли — т. е. начинались снова два месяца. С. П. не уверен в том, уцелел ли этот “красный маршал” новой формации, он был из будирующих, и все говорил о свержении головки во имя национального государства.

Наши свидания бывали раз в неделю на 1/2 часа в одной из канцелярских комнат, часов в 6 веч. в присутствии какого-либо субъекта. С. П. был в сквернейшем настроении — заниматься в условиях жизни общей камеры было невозможно тем более, что стояла сильная жара. Он собирался объявить голодовку, требуя допроса и предъявления обвинения.

Начальником тюрьмы в это время был Дукис — жестокий латыш, он ни с чем не считался, и в один из обысков отобрал у С. П. карандаш и бумагу, которые он имел по специальному разрешению. С. П. жаловался. Вернули.

Выпустили С. П. вместе с С. Леонтьевым и Д. Щепкиным.

Процесс эс-эров кончился через 4-5 дней. Было много смертных приговоров, потом замененных заключением и *заложничеством* за возможные покушения на главарей коммунистов... Сидят они и теперь. Один из них — Морозов — очень славный — покончил самоубийством, протестуя против всех тех жестокостей, которые на них обрушивались.

Бедную Богораз сослали на 3 года в Ташкент. Тех, кого она хотела, мы успели предупредить еще из засады — записочкой З.

Большую часть чекисты пасуют перед решительным наступлением или насмешкой. Так было и при освобождении С. П. Их всех троих подвергли тщательному обыску. С. П. протестовал и с насмешкой говорил, что, очевидно, они не знают старых приемов — никогда он не понес бы записочку в башмаке, который его заставили снимать, а спрятал бы ее в ухо; когда очередь дошла до второго башмака, чекист буркнул: “Не снимайте, не надо”. Так кончился последний арест...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Как видно из приводимых ниже слов Менжинского, преемника Дзержинского на посту главы Особого Отдела Г.П.У., слов, сказанных им лично Сергею Петровичу, большевики осенью 22 года не чувствовали себя прочно. Ленин переходил на новую экономическую политику — Н.Э.П.

Пока тянулся эс-эровский процесс, в обеих столицах составлялись списки нежелательных советской власти представителей интеллигенции: ученых, профессоров, писателей, общественных деятелей и т. д., многие из которых преследовались властью, уже посидели в тюрьмах, подвергались угрозе расстрела (Е. Кускова, С. Прокопович, М. Осоргин и др. члены, так называемого Голодного Комитета или Лиги спасения детей, избежавшие суровых кар благодаря предстательству Фритиоф Нансена), их всех постановлено было выслать за границу.

В списки эти не вошли те, кто сидел в тюрьме во время эс-эр. процесса. Политический Красный Крест с В. Н. Фигнер во главе, мало веря в продолжительность “передышки”, намечавшейся в связи с возникающим Н.Э.П.’ом, хлопотал за добавление к уже высланным за границу Сергея Петровича, которого по этому поводу Менжинский вызвал в Г.П.У.

Отпустить не хотели. Менжинский прямо сказал С. П., что большинство коллегии Г.П.У. за его высылку в Чердынъ Пермской губ. (на дальний север).

“Мы вас выпустим, — сказал он, — только с условием не возвращаться”. “Вернусь через 2 года, — ответил С. П., — вы больше не продержитесь”. “Нет, я думаю, шесть лет еще пробудем”. Потом Менжинский говорил о том, как хорошо понимает невыносимое существование С. П.: “Каждую ночь ждете звонка, да и работать вряд ли удастся при таком количестве обысков. 20 у вас уже было? Все вверх дном, верно. Да, я вас понимаю”...

В конце концов Г.П.У. решило отпустить за границу.

Из Москвы выслали уже около 70 человек с семьями. Выслали в две партии: одну через Ригу, другую через Петербург. В первую попали Мякотин и Пешехонов, которого удалось таки Решетову арестовать. Когда Пешехонов раз был у меня во время ареста С. П., я ему ска-

зала, как им интересуется Решетов. Его выследили на улице, ехали за ним и арестовали. Выслали, несмотря на всяческое с его стороны сопротивление.

Со всех высылаемых брали какие-то подписки. Всем предъявляли обвинение в контр-революции.

На Петербург уехала большая партия. Мы провожали и тех и других. Перед их высылкой у нас на квартире был прощальный вечер. Собралось, кажется, 60 чел., люди еще не были тогда так пришиблены, как теперь, было оживленно, все, как будто верили в хорошее будущее.

Перед нашим отъездом тоже собрались. Был прощальный ужин и в “Задруге” — все были какой-то дружной семьей. Накануне отъезда С. П. заболел, у него сделался острый приступ аппендицита, доктор сказал, что надо немедленно делать операцию. Ехать или делать операцию? Г.П.У. могло не выпустить второй раз, могло перерешить и выслать в Чердынь, арестовать и т. д. Мы решили ехать...

10-го октября проводы. На вокзале собралось более 70 чел. Шныряли агенты, но никого не трогали.

Тяжелое расставание с полной неизвестностью будущего. Увидимся ли?..

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ НАБРОСКИ В ТРЕТЬЕМ ЛИЦЕ.

ДОВЕДЕННЫЕ ДО 1925 ГОДА

С. П. Мельгунов родился 25 декабря 1879 г. старого стиля (7-го января 1880 г. нов. ст.), принадлежит к старинной дворянской фамилии и является потомком известного русского масона.

С. П. сын московского педагога и историка. Окончил историко-филологический факультет Московского университета. Специальностью своей избрал русскую историю и в частности изучение русского сектантства. С этой целью совершил ряд обследований на местах быта русских сектантов и написал на эту тему много статей, отчасти собранных в книге: "Религиозно-общественные движения в России в XIX в.". По истории русского сектантства им выпущена книга: "Религиозно-общественные движения в России XVII-XVIII в.".

С юных лет Мельгунов стал принимать ближайшее участие в демократической газете "Русские Ведомости", которая считалась самым серьезным и влиятельным органом в начале текущего столетия. Здесь Мельгунов вел горячую пропаганду за установление свободы совести в России, выступая против религиозных гонений. Многочисленные статьи его собраны были в двух книгах: "Церковь и Государство в России". На почве общности интересов к русскому сектантству у Мельгунова установились связи с Л. Н. Толстым, хотя по воззрениям своим М. был далек от взглядов Толстого. Связь с Толстым не порвалась и впоследствии — Мельгунов принял ближайшее участие вместе с дочерью Толстого Александрой Львовной в подготовке издания полного собрания сочинений Толстого, куда должны были войти все неизданные еще творения великого русского писателя — собрания, которое после большевицкого переворота не могло появиться в свет. Из других исторических работ Мельгунова*) наиболее крупной является объемистая книга "Дела и люди александровского времени", подводящая как бы итоги того, что сделано по изучению эпохи Александра I и ставящая новые проблемы в ее изучении... Под редакцией Мельгунова вышли многотомные коллективные работы при участии лучших научных и публицистических сил России: "Великая Реформа 19 февраля 1861 г."

*) Периода до 1925 г.

(7 томов), “Отечественная война и русское общество” (6 томов), “Русское масонство в его прошлом и настоящем” (3 тома). Все эти издания снабжены исключительно редкими иллюстрациями, заимствованными отчасти из богатых исторических коллекций самого Мельгунова. Под его редакцией вышло 7 томов “Книги для чтения по истории нового времени”, являющейся как бы продолжением аналогичного труда по истории средних веков, выходившего под редакцией проф. П. Г. Виноградова.

Совместно с знаменитым историком русского крестьянства В. И. Семевским в 1913 г. М. организовал исторический журнал “Голос Минувшего”, в котором преимущественное внимание уделялось истории русского общественного движения. С 1916 г. (год смерти В. И. Семевского) Мельгунов редактировал этот журнал, получивший большую популярность, один. Журнал удавалось выпускать с перерывами даже при большевиках, и только в 1923 г. с отъездом в конце 1922 г. Мельгунова за границу журнал кончил свое существование.

Вместе с журналом окончилось и другое большое литературное дело, организованное в 1911 г. на особых началах Мельгуновым — издательство “Задруга”. Два года тому назад оно было закрыто большевицкой властью. Издательство это, совершенно исключительное в России, представляло собой авторский кооператив, в котором участвовали многие из выдающихся русских людей, в том числе В. Г. Короленко, собрание сочинений которого выпускала “Задруга”, как должна была она выпустить и готовившееся полное собрание сочинений Толстого. Издательство насчитывало в своем составе около 600 членов, выпустило несколько сот книг; имело две типографии, организованные тоже на товарищеских началах — все рабочие типографий, как и все остальные работники, являлись равноправными членами Товарищества.

В дни революции издательство развило широкую пропаганду в области политического просвещения масс, связанное по своей организации с Сюзом русских кооперативных организаций, издательство выпустило и распространило миллионы экземпляров брошюр по политическим и экономическим вопросам для рабочих и крестьян. Общий характер издательства отвечал политическому направлению самого руководителя дела. Мельгунов, стоя близко к кружку писателей, объединявшихся около журнала “Русское Богатство” (основанного в свое время Н. К. Михайловским), представлявшего так называемое народническое направление, принял участие в народно-социалистической партии (1907 г.). По своим воззрениям эта партия отличалась от других социалистических партий тем, что в основу она клала не классовую борьбу, а интересы человеческой личности, как таковой. Ею

выдвинуто было таким образом особое понимание социализма. Партия не могла иметь широкого развития в буйное время революции, когда на сцену выступила демагогия. Но ее умеренный социализм, ее непрерывная защита интересов государства, как целого, интересов нации привлекло в ее ряды много лучших представителей русской демократической интеллигенции.

Мельгунов состоял товарищем председателя Центрального Комитета партии и был выставлен кандидатом в Москве при выборах в Учредительное Собрание.

В дни революции Мельгунов редактировал вместе с другими лидерами партии Мякотиным и Пешехоновым партийные органы: "Народное Слово" и "Народный Социалист" и состоял одним из редакторов демократической газеты "Власть Народа", издаваемой Союзом Кооператоров. Не участвуя непосредственно в организации власти, Мельгунов боролся в рядах, поддерживавших Временное Правительство, в качестве писателя.

После большевицкого переворота Мельгунов остался в Москве, все время неуклонно борясь с насилием, воцарившимся в России. Привлекаемый не раз при царском режиме к ответственности за статьи, он должен был в 1919 г. перейти на нелегальное положение, продолжая, однако, свою работу. Он был пять раз арестован при большевиках, сидел длительно в тюрьме, подвергался бесконечным обыскам, но большевицкая власть его выпускала, так как за него постоянно ходатаями выступали старые революционеры, как В. Фигнер и П. Кропоткин. В 1920 г. Мельгунов был судим по большому политическому процессу, к которому было привлечено много московских профессоров и общественных деятелей. Его обвиняли, как одного из организаторов "Союза Возрождения" — политической группировки, в которую вошли представители всех анти-большевицких демократических партий: народной свободы, народ. социалистов, правых соц. револ., правых соц.-демокр. Союз Возрождения вел активную борьбу с большевиками, поддерживая демократическую тенденцию, — так позади белого движения пытались создать единый национальный фронт против большевиков.

Мельгунов был приговорен к смертной казни, которая была заменена ему десятью годами тюремного заключения. После годового пребывания в тюрьме, преимущественно в одиночной камере, он был освобожден по ходатайству Академии Наук и Кропоткина.

В 1922 г., в момент массовых высылки (за границу) интеллигенции, в момент, когда М. вновь сидел в тюрьме, вызванный свидетелем на известный процесс соц.-рев., он намечался к ссылке в Чердынь*),

*) На севере Пермской губ.

что было заменено разрешением выехать за границу при условии, что он не вернется на родину.

Мельгунов сделался эмигрантом, так как через год он официально был лишен всех прав гражданства, вместе с тем конфискованы были его богатейшая библиотека и архив, переданные ныне Социалистической Академии. Поводом для этой меры явились статьи Мельгунова о красном терроре.

В эмиграции М. организовал издание исторического журнала, названного им "На Чужой Стороне", который является как бы продолжением "Голоса Минувшего". В настоящее время он занят преимущественно изучением русской революции и историей гражданской войны. Вместе с тем, им приготовлена большая работа, еще не напечатанная, в которой он под влиянием пережитого в русской революции ставит ряд вопросов, требующих пересмотра при изучении Великой Французской Революции...

На этом обрываются автобиографические наброски Сергея Петровича Мельгунова. (П. М.).

О Г Л А В Л Е Н И Е

Стр.

Весна и лето 1918 г.	3
Записки “внутреннего эмигранта” (1918-1921)	4
Осень	26
I После покушения на Ленина	27
У Бонча	38
II Второй арест	40
III В Особом Отделе	53
IV Год в тюрьме	58
Продолжение по воспоминаниям П. Е. Мельгуновой	60
<i>Перед “судом”</i>	65
<i>“Суд” (Дело Тактического Центра)</i>	66
<i>После приговора</i>	72
V Пятый арест	74
Послесловие	81
Автобиографические наброски	83
Оглавление	87

Imp. Beresniak — Paris

LES EDITEURS REUNIS
11, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, Paris - 5^e